

# СИБИРИАДА

ПАВЕЛ  
СЕВЕРНЫЙ



КАМЕШЕК  
ЕРОФЕЯ МАРКОВА

Сибиряда

Павел Северный  
**Камешек Ерофея Маркова**

«ВЕЧЕ»

2018

**Северный П. А.**

Камешек Ерофея Маркова / П. А. Северный — «ВЕЧЕ»,  
2018 — (Сибириада)

ISBN 978-5-4484-7650-1

Шел XIX век. Каждый его год все отчетливее, яснее выявлял огромную мощь России. В стране непостижимых возможностей сильный, мужественный народ пытался вырваться из пут крепостной кабалы. На Каменном поясе эхо шествия XIX века усиливалось грохотом молотов и неумолчным шумом лесов. Но на радость ли людям сыскал много лет назад уральское золото Ерофей Марков?.. Больно охочи стали люди до богатства, искали легкой наживы, фарт на золоте верховодил человеческой судьбой... Роман о людских судьбах, быте и нравах горного Урала в первой половине XIX века.

ISBN 978-5-4484-7650-1

© Северный П. А., 2018

© ВЕЧЕ, 2018

## Содержание

Глава первая	6
Глава вторая	8
Глава третья	36
Глава четвертая	38
Глава пятая	44
Глава шестая	56
Глава седьмая	67
Глава восьмая	73
Конец ознакомительного фрагмента.	75

# **Павел Александрович Северный**

## **Камешек Ерофея Маркова**

*Посвящаю сыну Арсению Павловичу*

© Северный П.А., 2018

© ООО «Издательство «Вече», 2018

© ООО «Издательство «Вече», электронная версия, 2018

Сайт издательства [www.veche.ru](http://www.veche.ru)

\* \* \*

## Глава первая

Наступил девятнадцатый век. Казалось, по Российскому государству годы проходили прежним неустанным, размеренным шагом. В очаровании летних ночей, под шелест листвы на березах они слушали соловьиные трели, в позолоте осенней поры дрогли, исхлестанные вицами затяжных дождей, под лихие высвисты метелей коченели в сугробных снегах, а потом вязли в грязи весенних распутиц.

Но не эти внешние приметы обозначали вехи противоречивого, не скупого на драматизм девятнадцатого века России. И до нее донеслось эхо очистительной грозы Великой французской революции – провозвестницы совсем нового уклада жизни.

Россия шла столбовой дорогой истории, и на ее бескрайней, исконной земле послышались гудки первых паровозов и пароходов, а в городах и промысловых селениях привычное спокойствие все чаще и чаще нарушалось шумом паровых двигателей и механических станков – то было начало промышленного переворота в России..

Девятнадцатый век...

Волею дворян на трон Российской державы садились, по праву наследования, коронованные вершители ее судьбы. Не угодив дворянам, переставали царствовать, оставляя для истории свои портреты. У каждого царя была своя повадка зажимать в руках скипетр и державу. И для народов России, как и в былые века, цари не распахивали ворота в вольную жизнь, а под дворянский шепоток навешивали на них все новые и новые мудреные замки, ключи от которых самодержцы умышленно теряли.

Династийные хозяева государства, по канонам векового самодержавия, по сговору с дворянами, надумывали для людей труда путаные пути-дороги с глухими тупиками. Силой царской и барской власти, благословленной церковью, гоняли по ним народ в хомуте крепостной неволи.

Все видел вокруг себя трудовой люд, кроме нужных ему радости и счастья жизни. Не мог он отыскать справедливость для себя ни среди белых колонн дворянских усадеб, ни среди лампад, освещавших лики Христа на иконах, а ведь он искал правду с милосердием к себе не одно столетие, изнемогая под тяжестью страданий, возжигая грошковые свечки чистого воска перед святителями, не теряя надежды найти надобную ему правду.

Крепчал ветер неотвратимых политических перемен. Русский народ забывал о смирении, он рвал крепостное ярмо и в девятнадцатом веке утверждал свою жизнь под первые вспышки зарниц смелых дерзаний в борьбе за волю. Патриотический подъем духа народа, вознесенный Отечественной войной 1812 года и освободительными походами в Европу, дал новые победы национального самосознания...

Шел девятнадцатый век. Каждый его год все отчетливее, яснее выявлял огромную мощь России. В стране непостижимых возможностей сильный, мужественный народ пытался вырваться из пут крепостной кабалы. Разбуженные этой борьбой, лучшие люди из дворян, презрев свои привилегии, с оружием в руках поднялись декабрьским днем в столице Российской империи против самодержавия и крепостничества...

\* \* \*

На Каменном поясе за прошедшие сто лет, в один ряд с историей всей страны, по лесным, горным и водным дорогам история Уральского края промяла свои особые следы косолапьем медвежьей поступи.

На Каменном поясе эхо шествия девятнадцатого века по государству усиливалось грохотом молотов и неумолчным шумом лесов. И в Уральском крае люди знали о жизни в стране, беспокойные вести заносили ходоки. На Урале знали, что за Камнем у работного люда та же беспросветность неволи, те же высвисты плетей, намокших от крови. Только на Каменном поясе барская ненависть скорее запарывала плетями человека насмерть. Урал в начале века служил оплотом крепостничества в российской промышленности, но и здесь поднималась мускулистая рука работного люда против угнетения.

В майское двадцать первое утро тысяча семьсот сорок пятого года на Урале нашлось свое, русское золото.

Оно нашлось в пору, когда в Екатеринбурге уже не было Василия Никитича Татищева. Его провидческая мечта об уральском золоте далась в трудовые руки горщика Ерофея Маркова. Это ему посчастливилось в Березовском логу выковырнуть из шурфа «скварчик» с вкрапленными в него крупницами неведомого до этого в крае желтого металла. Сам Ерофей не сразу догадался, что отыскал новую драгоценность. На огне из камешка кварца крупницы расплавились и вытекли, а остыв, заблестели первыми золотыми слезами Урала.

Орава иноземных бироновских ворюг, вершители казенного горнозаводского дела, – бритоусые саксонцы больше всех испугались находки Ерофея Маркова. По их замыслу, Россия не должна была иметь собственного золота. Они пытками на допросах смяли житейскую радость Ерофея. Два года мучили горщика только за то, что он без их ведома осмелился взять в руки золотое чудо Урала.

Ерофею Маркову судьба улыбнулась лишь перед смертью: академик Михаил Ломоносов за ним утвердил чудесную находку, подарившую несметные богатства Российскому государству...

Шел девятнадцатый век.

Сквозь уральские чащобы продирались годы, сутулясь под тяжестью лыковых пестерей с летописями и преданиями...

За неровной походкой беспокойного времени следили зоркие глаза работных людей, все более осознававших, что подлинные страницы уральских летописей, преданий слагались их разумом и трудом.

## Глава вторая

### 1

В Екатеринбурге, окоченевшем от зимней стужи, как и по всей необъятности Российской империи, наступил новый, тысяча восемьсот тридцать седьмой год.

В сумерках похмельного дня с шиханов Таганая неожиданно задул буранный ветер. Свое стихийное буйство по городу он начал разводить исподволь и только к девятому часу довел разноголосое вытье до полной силы.

Ветер бешеными порывами с посвистами закручивал на сугробах волчки и веретена вихрей. Он стелил по сугробам сметаемые с крыш косматые снежные бороды, заволакивал улицы, переулки и площади непроглядным, колючим туманом.

Погасив на плотине огни в скворечниках фонарей, ураган с неудержимой силой сгонял снежные тучи к берегам пруда, наматая шевелящиеся сугробы.

Еще недавно зримо стоял богатый уральский город – и вдруг исчез в буранной темноте. Только ночные караульные дробным клетотом колотушек напоминали о его существовании.

Неподалеку от плотины высокая чугунная ограда опоясывала каменные хоромы имени-того заводчика Муромцева. Возле ворот стояла полосатая будка, наполовину замеченная сугробом, а в ней, укрывшись от бурана, нес караул будочник Емельян Крышин.

Старика одолевали тревожные думы. Сначала он разговаривал сам с собой, потом стал напевать солдатскую песню, но ни тем, ни другим не мог отогнать беспокойные мысли.

Кутаясь в собачью ягу, Емельян смотрел, как крутится снежный туман возле освещенных окон в правом крыле барского дома.

Тревожность взяла в полон разум Емельяна за неделю до Нового года. Все началось с того, что довелось ему на базаре встретить Мефодия из Верх-Нейвинска. Сказывал тайно ему Мефодий, что будто из острога Верхотурья бежал бунтарь. Бежал не кто-нибудь, а тот самый литейщик из Каслей, по зачину коего вовсе недавно взбунтовались рабочие люди сперва на Юрезанском заводе, а далее и на рудниках, приисках. Весть захолодила всего Емельяна. Еле шел с базара: плохо повиновались ноги, словно размякли в них кости. Да как было Емельяну не перепугаться. Литейщику-то имя Савватий. Савватий ему племянник. Сын младшего Емельянова брата, доменщика, рано отдавшего богу душу от сердечной болезни. Крышин гордился племянником – рабочий человек Савватий сыскал по Камню добрую славу мастерством на хитрое и замысловатое чугунное литье. Однако еще большую славу он заслужил у крепостного работного люда на заводах, рудниках и приисках своим непокорством господскому притеснению.

Дважды садили Савватия в острог за неумное стремление найти правду для рабочего люда на горнозаводском Урале.

Дважды садили, а он всякий раз самовольно освобождался от острожных желез. Вот и теперь, смотри! сидел в самом крепком верхотурском остроге. Страшны там подземные казематы. Но Савватий и из него ушел, опять на воле.

Рад был Емельян, что племянник живым отыскался. Нынче одолевает старика беспокойство: не уберется Савватий на воле, попадет в руки земской полиции, тогда уж не миновать ему смерти.

Тягостны старческие тревоги. Бьет Емельяна озноб – не от стужи, а от мыслей о судьбе Савватия. Думает старик, где племянник сейчас, в тепле ли в эдакую непогоду? Сыт ли? Думает

старик, прислушиваясь к вытью бурана, к едва доносившемуся стуку колотушек, лаю собак на псарне барского двора.

Пересиливая озноб, Емельян утоптал сугроб перед будкой, стал бродить возле нее, увязая в снегу. Ветер рвал полы яги, раскидывал их, как крылья, швырял в лицо колючий снежный фирн. У старика перехватывало дыхание, начинал душить кашель. Кашлял Емельян надрывно, у него ломило в плечах.

Осилив приступ удушья, старик вдруг услышал совсем близко стукоток колотушки, подумал, что это соседский караульный Дементий, и, обрадовавшись, крикнул:

– Кто тут?

Колотушка брякнула за спиной.

– Ты, что ли, Дементий?

Уловил знакомый голос:

– Где ты? Не угляжу тебя, дружище.

– Тутотка я. На меня идешь.

Дементий столкнулся с Емельяном, и оба захохотали.

– Сшиблись, стало быть?

– Ладно, что не лбами. Пойдем в будку. Держись за меня.

Утопая в снегу, добрались до будки. Втиснулись в нее.

– У вас по какой притче свет в окошках? – допрашивал Дементий.

– Гостенек у барина.

– Кто такой?

– Под стать нашему. Юрезанский живоглот. Ванька Сухозанет.

– И Комар с ими?

– Нету. На Старом заводе нонче зимует. Барин с гостеньком вином наливаются, потому домоправительница Агапия Власовна с самого Рождества хмурая.

– Крепко она твоего барина в кержацких рукавичках держит.

– Она всех нас крепко держит. По шеям, как по косякам, кулаками стучает. Кремневая, но все одно уважаемая мною баба...

Дементий потер щеку:

– О господи! Катеринбург-то наш Новый годок так в винном зелье искупал, что диву даешься, как это новорожденный вовсе не утоп.

– Твои купцы, Дементий, кажись, тоже не отставали.

– Три дня пили. Старый Сила до того дошел во хмелю, что с архиерейским ключарем в парадной зале на люстре качели смастерили. Качались, качались, а люстра-то под телесами ключаря и оборвись. Монах чуть не до смерти расшибся.

– Экое дело...

– Дикость купецкая, Емельян. А сам-то погулял?

– Нету. С хмельным давно дружба врозь. Почитай, с поры, как меня, молодца, парня, убеглого от барина во хмелю, заново в крепость поймали да в солдаты сдали. Рабочему люду, Дементий, с вином нельзя знаться. Винное зелье разум тупит, как сучок топор. От вина оказываешься безмозглой чуркой. Добрую мысль в разуме отыскать не силен. А пьяная дикость и ангела может напоить, да так, что он, во хмелю летая, крылья о наши колокольни обломает. Понимай, Дементий, я человек кости крестьянской, с походкой солдата, а посему желаю в трезвом облике на свете значиться.

– А ведь я к тебе с новостью шел, – сказал Дементий. – Слушай, Емельян, дочка моя служит у купцов Первушиных. Слыхала купецкий разговор про то, что каслинский Савватий опять объявился.

– Неужели? – притворно удивился Емельян.

– Вот и понимай, к чему дело идет. Савватий zelo смелый мужик. Последний бунт такой подняли... Два года в страхе Камень держали. Думаешь, Савватий теперь смиренным стал? Ого-о-о! Савватий – он такой...

– Про Савватия все работные знают.

– Так-то вот... Стало быть, ты Новый годок сухим встретил.

– А ты как отпраздновал? – полюбопытствовал Крышин.

– Аль позабыл, что мне на сей тропе ходу нет. Моя Парасковья отвадила меня от вина на второй день после венца. Бедовая по крепости характера баба. А главное, в ейной головушке умок не бабий. Ну вовсе по-твоему рассуждает. Дескать, пусть зенки вином господа заливают, а работному человеку надлежит трезвым быть, чтобы мысль в его голове жила. Ну ладно, бывай. Пора брякать. Старый Сила с бессонницей дружит, сердчает, когда редко караул бью. – Дементий вылез из будки и застучал колотушкой.

В господских хоромы светились три окна во втором этаже. Муромцев в ноябрьские дни перенес сюда свое жилье после того, как отвел первый этаж жене, привезенной на жительство в Екатеринбург из принадлежащего ему Старого завода.

В бурную ночь в хоромы заводчика свет виднелся в окнах просторной палевой гостиной. Роскошна она по убранству. Пилястры в ней с позолотой. Потолок и карнизы в лепных орнаментах и росписи. На карнизах написаны амурчики, порхающие среди гирлянд пышных роз, а на потолке – хороводы сатиров и нимф. Кресла, диваны, столы, этажерки гостиной украшены золоченой резьбой. Зеркально навощенный паркет отражал в себе каждую вещь.

На стенах портреты: дама с розами, дама в пудреном парике, с мушками, старый вельможа в белом мундире. На самом видном месте в овальной раме большой портрет девушки лет семнадцати. Написана она в пене кружев. Портрет создан за три года до того, как Муромцев увез ее из родительского гнезда в Псковской губернии. Девушка, став женой заводчика, лишилась разума.

Около окна в углу, похожие на шкаф, старинные часы.

В пасти камина, в пуху золы, таяли угли. Их слабый отсвет играл на хрупких статуэтках северского фарфора, розовинкой ложился на стекла горки.

На столе, покрытом парчовой скатертью, бронзовый канделябр с коптящими свечами. Около него бутылки с заморскими винами, ваза с яблоками и хрустальные фужеры. И тут же бархатный футляр с дуэльными пистолетами.

К столу придвинуто кресло. В нем, развалившись, сидел тучный артиллерийский генерал Иван Онуфриевич Сухозанет, владелец Юрезанского и других заводов. Он заехал к Муромцеву по пути в столицу и проводил в Екатеринбурге новогодние дни.

От усиленных праздничных возлияний одутловатое лицо генерала багрово. Мясистый нос над оттопыренными губами навис крючком. Мундир на генерале расстегнут, и под ним видна черная шелковая рубашка.

Хозяин дома, Владимир Аполлонович Муромцев, стоял рядом в халате, слегка пошатываясь, с гитарой в руках, напевал гусарскую песенку. Он высокий, поджарый. Серовато-желтая кожа обтягивала скулы сухощавого лица. Курчавые пышные волосы и бакенбарды белы как снег, и только в лихо закрученных усах еще сохранялись черные волоски. Взгляд его линияло-голубых глаз злой.

Отпивая из фужера вино смакующими глотками, генерал говорил хриповатым голосом, откашливаясь после каждой фразы:

– Ты должен, дорогуша, верить мне на слово. На этот раз в Петербург качу не кланяться в пояс, как бедный родственник, а ссориться и требовать. Я докажу его величеству. Он должен не забывать, что в то декабрьское утро я был верен ему. Картечь моих пушек остановила мятежников на площади Сената. Я буду требовать...

Муромцев, услышав последнюю фразу, перестал петь и, перебирая пальцами струны гитары, спросил:

– Я, кажется, ослышался?

– Нет, дорогуша, ты не ослышался. Именно требовать! Требовать ограничить власть главного горного начальника генерала Глинка. Разрешить нам частым гребнем прочесать горные канцелярии генерала и отодвинуть купцов подальше от заводов, от золота и всех рудных богатств.

Выслушав генерала, Муромцев рассмеялся и запел в полный голос.

– Смеешься? Не веришь? Вот что, дорогуша, сделай одолжение. Положи гитару. Поешь из рук вон плохо. Голос твой дрожит.

Недовольно пожав плечами, Муромцев бросил гитару на ближний диван, ее струны всхлипнули жалобным звоном.

Сделав шаг к столу, Муромцев поднял фужер с вином и спокойно сказал:

– Спорить с государем у тебя не хватит смелости.

– Дворянам на Урале пора начать спорить с его величеством о своих законных правах. Подумать страшно, до чего распустилась столица. Сочинитель Пушкин высмеивает знатных людей. В театре ставят грибоедовскую комедию «Горе от ума». Какому-то сочинителю Гоголю дозволяют высмеивать нравы чиновной империи.

– Но ты сам только сейчас собирался прочесать чинуш?

– Я кто? Сухозанет, а не Гоголь! У меня есть на это право.

– Без наших чинуш, без их любви к взяткам ты никогда не владел бы кое-какими заводами и рудниками. И прежде чем ты доберешься до них, генерал Глинка нащелкает тебя по носу.

– Меня?

– Уже забыл, как Глинка на тебя кулаком стучал по столу?

– Когда это?

– Когда вел следствие о твоих экзекуциях над виновниками рабочего бунта. Вспомнил?

– Охота тебе вспоминать об этом. От всего пережитого тогда я перед Глинкой просто-напросто растерялся. Тогда я действительно переперчил. Да, генерал Глинка стучал на меня кулаком по столу. А какой вышел из этого толк? Смирил он меня? Нет. Заставил жалостливым стать к мужикам? Нет. Особо ненавижу уральских. Хотя бы за то, что, живя среди них, перенимаю даже холопью манеру разговора. Со всей империи сбежались сюда, со всей Руси снесли в леса свое непокорство, укрылись от страшного греха ликами Спасителя и Богородицы.

– Ты, Онуфрич, ненавидишь крепостных из трусости. Боишься их.

– Из трусости?! А ты их не боишься? В бунт в Юрезани они меня в спальне связанным на люстре вниз головой повесили. Хотели дымом задушить. Как рыбу, меня закоптить собирались. Только десница Всевышнего спасла от неминуемой гибели.

– Не десница. Спасли тебя от смерти солдаты, и приказал сделать это Глинка.

– И за что Господь наказывает нас, дорогуша? Почему это мы родились хозяевами русских мужиков? Почему на роду нам написано быть хозяевами этого упрямого и непокорного народа? Живу и не могу уразуметь, чем можно его в покорность привести. Сам посуди. Бьешь мужика – молчит. Хвалишь его – тоже молчит. По осени написал для крепостных «Нравственные юрезанские заметки». Повелел попам обучать ребятишек. Может быть, поможет. Может, с ребячьих лет все же удастся привить их разуму покорность к родному барину.

– Напрасный труд. Не привьешь. А почему?.. От нашей слабости. Разве господами мы на Урал пришли? Пришли приживалками. Пришли, держась за подолы купеческих дочек. С поклонами пришли из-за своей обеднелости. Стукались лбами о купеческие дверные косяки – вот и достукались.

– Мы с тобой пришли сюда по праву наследования. Сейчас у дворян в руках большинство заводов.

– Но и мы просили купцов учить нас уму-разуму, как стать заводчиками.

– Быть хозяином я ни у кого не обучался. Рожден на свет божий повелевать. А ты, кажется, начнешь сейчас выгораживать передо мной купчишек?

– Выгораживать их перед тобой не буду. По той простой причине, что они от твоей ненависти насмерть не угорают. За себя мне обидно: слишком поздно научился разгрызать твердые уральские орешки. Стыдно, что плохо умел обуздывать крепостных. Поздно подружил разум со стремлением к владычеству над уральской медью, и все же я единственный из здешних дворян, который прозрел и понял, что властью над медной рудой еще можно наверстать упущенное время. На меди тоже сидят жирные купеческие зады. Но я их потихоньку спихиваю. Я утверждаю в крае над медью истинную власть дворянина с царского благословения.

– Хвастаешь?

– Нет, Онуфрич. Тульский кузнец Демидов создал по воле Петра в крае эпоху железа. Вольский купец Расторгуев по своей смекалке создал эпоху золота. Теперь дворянин Муромцев создает эпоху меди.

– И станут тебя скоро звать не Седым Гусаром, а Меднолобым.

– Да что там прозвища! Я о серьезном говорю.

О назначении российского дворянина. Муромцев появился на Урале, чтобы войти в его историю, записать в книге уральского бытия свое существование более крупным, а главное, более грамотным почерком, чем у Демидова и Расторгуева...

– Ну, ну! – Сухозанет покачал головой. – Опасно брать пример с Демидова.

– Это почему же?

– Он верховодил Уралом, когда народ еще не умел думать. Ему, как своему мужику, народ помогал. Демидов, кроме всего, знал мужицкое «петушиное слово».

– Глупости это. Народ начинает помогать, только когда его принудишь к этой помощи.

– А сумеешь его принудить?

– Постараюсь.

Сухозанет снова покачал головой:

– Смотри не ошибись. Взгляни на мои руки. Мозоли на них от плетей, а толку все равно никакого.

– У меня будет толк.

– Не верю. Судя по тому, как ты раскол приручаешь, никакого толку у тебя с замыслами о владычестве над медью не получится.

– Я приручаю раскол на свой манер.

– А я приручаю его совсем по-иному. С кержаками-скитниками в дремучих лесах обхожусь ласково. Крендельками-посулами заманиваю из лесов на мои заводы. В лесах раскол лаской обхаживаю. А как доверятся мне, как припишу их к заводам, то и начинаю плетью приучать к нашей правильной христовой вере.

– Это, стало быть, за ласковость выжигают они твои заводы?

– Жгут, проклятые! Жгут! Потому, кержак не кержак, все равно русский холоп. На пустые разговоры время изводим. Никто не знает, как обуздать непокорность в народе. Никто! Ни царь небесный, ни царь земной. Ты лучше скажи мне вот о чем: на чьих землях лучшая медная руда втуне пребывает? Мои уголья в расчет не клади. Мою медь будешь у меня покупать. Назови мне тех хозяев, у коих надумал ее даром взять.

– Самая богатая медь у Василисы Карнауховой да у Тимофея Старцева.

Удивленный, генерал сложил губы, чтобы свистнуть, но свиста у него не получилось.

– В озноб меня кидает, когда про Карнаучиху слышу. Вот чертова старуха! Тебе с меди ее не спихнуть. Может, через дочку найдешь дорожку к старухе? А как Старцева возьмешь? За его спиной раскол. После Расторгуева он у кержаков вроде христового апостола...

В гостиную вошла Агапия с горящей свечой в руке. Она остановилась на пороге. На ней малиновый сарафан, обшитый широкой парчовой тесьмой. Высокая и стройная. На лице выражение величавой строгости. Следом за ней неслышно появилась белая борзая и заворчала на Сухозанета. Генерал обернулся и, увидев Агапию, торопливо перекрестился. Агапия без улыбки спросила:

– Пошто креститесь, барин-генерал, я, чать, не сила нечистая?

– Сила ты, Агапия Власовна, чистая, но только привык в своих раскольничьих местах от ваших бабьих поглядов осенять себя крестным знамением. Погляжу в ваши глаза – и начинаю сны грешные видеть.

Муромцев щелкнул пальцами. Собака подошла к нему, и он почесал ей за ушами.

– Вина, Гапа, нам больше не надо.

– Не за этим пришла, барин. Время позднее. На часы взгляните.

Муромцев посмотрел на часы. Их стрелки подошли к полуночи.

– Спать пора. А барину-генералу я уж и постельку изладила.

– Мы еще посидим, – недовольно сказал Муромцев. – У нас разговор интересный.

– Завтра его закончите. Говорю, спать пора. Уж который раз полуношничаете?

Муромцев посмотрел на Агапию и, увидев ее сощуренные веки, развел руками:

– Ну что ж, будем ложиться. Проводишь генерала. Зайди сюда свечи погасить.

– Сделайте милость, барин, сами погасите. Гостя мне надо ладом обслужить. Пожалуйте, барин-генерал.

Сухозанет, с трудом согнув в коленях ноги, покряхтывая, встал:

– Покойной ночи, дорогуша.

Борзая снова зарычала на генерала.

– Ну, чего злишься, дура?

– Чужой вы ей, вот она и остерегается. Животная.

– Верно. Раньше ее у вас будто не видал. Как кличешь?

– Мушкой зову. По осени меня барин одарил.

– Пойдем. В самом деле, спать охота. Фу ты, опять сказал холопское «охота» вместо «хочется».

– Следуйте за мной. Вперед пойду, потому светить буду.

Агапия вышла из гостиной, а следом за ней направился, тяжело ступая, Сухозанет.

Прошли молча через большой темный зал, и от прохлады в нем генерал зябко пошевелил плечами. Потом миновали длинный коридор и оказались в маленькой горнице.

– Вон куда меня устроила.

Позевывая, Сухозанет осмотрел горницу с постелью, приготовленной на широком диване.

– Почему из вчерашнего покоя сюда перевела?

– Здесь теплее. На воле буранище. Вы, чать, тепло любите?

– Больше всего люблю тепло маленьких комнат. Много ли мне места надо?

– Вот так и рассудила, что в этой горнице вам поглянется. Покойной ночи. Сейчас вашего слугу пришлю.

– А ты сама меня раздень.

– Не обучена этому, барин-генерал.

– У-у-у, шельма!

– В маменьку уродилась.

Генерал придвинулся к Агапии вплотную и погладил ее по спине:

– Густо замешанная.

Агапия отошла от него и поставила свечу на столик возле постели. Генерал неожиданно обнял Агапию сзади. Но она развела свои руки, и он упал на постель.

– Что это, Иван Онуфрич, как плохо стали на ногах держаться?

– А зачем меня толкнула?

– Господь с вами.

– Я к тебе с лаской, а ты толкаешься.

– Простите за бабью неловкость. Щекотки ужаси как боюсь.

Сопя, генерал встал. Подошел к Агапии. Дышал жарко ей в лицо:

– Приголубь, милая.

– Что вы?

В коридоре под дверью заскулила борзая.

– Покойной ночи. Вон и Мушка за мной пришла.

– Не любишь нашей ласки, кержачка?

– Русская я. Веры только старой. Барской ласки боюсь, как зимней стужи. Барская ласка огнем сердца не обогрета, а посему от нее студено.

– Смотри у меня. За такую неучтивость тебя высечь надо.

– Да разве это для меня диковинка? Меня барская плеть не раз кусала. Покойной ночи.

– Ох и шельма! Барину завтра на тебя пожалуюсь, что неласковая.

– Он меня за это похвалит. Не любит, когда гости от меня ласку просят. Покойной ночи, барин-генерал...

\* \* \*

Муромцев, оставшись один, долго недвижно стоял подле стола и неотрывно смотрел на горящие свечи в канделябре. Но вот лицо его дрогнуло, рот искривился недовольной усмешкой, он резко дунул, погасив три свечи, а два непогашенных огненных язычка заметались из стороны в сторону.

Хозяин дома не мог унять возникшего раздражения, закипавшую злость на Агапию за ее упрямство. Он подошел к двери и, пнув ногой, закрыл ее створку. Неспешно приблизился к камину. Поднял поленья и швырнул на угли. Взметнулся пух золы и медленно осел, запорошив серыми хлопьями зеркальный паркет. Муромцев прилег на диване, подложив под голову руки. В его разуме, отуманенном вином, привычная тяжесть. Шевелятся обрывки мыслей, их беспорядочную толчею все чаще и чаще заглушает звон в ушах.

Лежал и слушал высвисты буранного ветра. В камине сгущалась волокнистая пряжа белевого дыма, подкрашенная снизу огненными вспышками; потрескивая, загоралась на поленьях береста.

Часы вызвонили полночь, и, когда совсем умолкло бурчание их разворошенных пружин, мелодичные колокольчики курантов стали рассыпчато вызванивать мотив нежной песенки.

Слепящий огонь камина заставил Муромцева прищурить глаза. Он наблюдал, как вихрилось пламя, обугливая поленья, как от ярких вспышек по стенам заскакали с места на место тени. Муромцев подумал о том, что за эти дни в пьяном чаду он был излишне откровенен с Сухозанетом, прекрасно зная, что ему ничего сокровенного доверять нельзя.

Но Муромцев сразу же успокоил себя: его притязания на медную руду перестали быть тайной с прошлой весны и на Урале и в столице. Кроме того, он был уверен, что Сухозанет трус и не посмеет болтать в столице ничего лишнего, ибо у самого рыльце в пуху – жестокое обращение с крепостными не один раз доставляло генералу неприятности, грозившие даже следствием.

Муромцев был уверен, что умеет шито и крыто обделывать свои дела, хотя о них по Уральскому краю бродяжила недобрая молва, но ни у кого не было доказательств тому, что молва правдива...

Владимир Аполлонович Муромцев – отпрыск смоленского дворянина. В тот год, когда полчища Наполеона вторглись в пределы империи, Муромцеву исполнилось двадцать пять лет. Война застала его ротмистром Ахтырского гусарского полка. Во 2-й армии Багратиона в составе 4-го корпуса Сиверса он участвовал в Бородинском сражении, где его при отбитии атак неприятеля на флешу достала сабля французского драгуна. На долгие часы он потерял сознание, а потом и сам не мог понять, как остался жив. Однако спустя некоторое время, когда русская армия преследовала врага на немецкой земле, Муромцев начал страдать от нестерпимых головных болей, и, случайно обнаружив, что хмель приносит облегчение, боль утихает, он стал часто пить. Именно тогда у него и появилась идея обогатиться на войне. Он знал о постоянных денежных затруднениях вдовой матери и понимал, что ему не может быть предоставлено желаемое обеспечение, а потому начал расчетливо присваивать себе ценности, оставляемые отступающим врагом.

Первую ошеломляющую по ценности добычу он захватил в личном обозе Лефевра, командира старой наполеоновской гвардии. Муромцев, утаив золото, дорогие изделия, все же кое-что сдал в казну для отвода подозрения. Легкость обогащения воодушевила его. Он еще более ретиво начал прибираться к рукам драгоценности, то и дело отправляя их в Россию, при творно называя посылки «сувенирами войны».

Вернувшись по болезни из Парижа в родовое поместье, он неторопливо разобрал упакованные вещи. В течение ряда лет осторожно распродал ценности. Как-то Муромцев гостил у знакомого помещика в Псковской губернии и там увидел милостивую девочку десяти лет, поразился ее красотой и, покидая поместье, неожиданно подарил ей на память бриллиантовое ожерелье.

Вскоре вышел в отставку, а через четыре года умерла мать, и он унаследовал вместе с другими родственниками заводы и рудники на Урале.

В зимнюю стужу 1818 года впервые приехал в Екатеринбург и, оглядевшись, взялся ревностно за дела наследованных заводов и рудников и прежде всего перепорол до полусмерти вороватых приказчиков и управителей.

Уральский край поразил его девственной природой, своими неограниченными возможностями, а дикие миллионы местных богатеев разожгли в нем честолюбивые стремления стать среди них равным. Он начал проводить бессонные ночи за карточным столом, участвовать в кутежах, плести интриги. Войдя во вкус уральского житья, он решил, что может добиться и большего – стать первым заводчиком.

Опять-таки исподволь, Муромцев обдуманно освобождался от сонаследников. Он нещадно обкрадывал родственников, а потом выкупал их паи и уже через пять лет превратился в единоличного владельца Старого и других заводов и рудников.

Он быстро богател, выстроил в городе на берегу пруда новые хоромы, хлебосольно распахнув их двери уральским миллионщикам. Ничем не брезгуя, обыгрывал в карты купцов, заводил интрижки с чиновничьими и купеческими женами и завоевал своими светскими манерами славу неотразимого покорителя женских сердец. Муромцев умел к своей выгоде использовать и эту молву, добиваясь с помощью женщин прибыльных сделок.

Однажды, когда его мучил острый приступ головной боли и он затворником проводил дни в своем доме, вдруг вспомнилась псковская девочка, ее красота, он представил ее взрослой, и его неодолимо повлекло туда, на запад. Не раздумывая, он покатил на тройке, загоня лошадей, в Россию.

Муромцев не опоздал. Ей шел двадцатый год. Как он и предполагал, девочка превратилась в ослепительную красавицу. Муромцев заметил: она не надевала подаренного ей ожере-

ля. Дознался, что ее родители распродали ожерелье по камешкам, вызволяя себя из долгов. Он смело сделал предложение и, получив согласие родителей, увез невесту в свое родовое поместье, где в день свадьбы, страдая от головной боли, настолько сильно напился, что не помнил, отчего именно в брачную ночь невеста потеряла рассудок.

Несчастье с женой напугало его. Весь месяц никого у себя не принимая, прожил в поместье, а затем уехал с больной женой на Урал.

Шесть лет держал жену в Старом заводе, никому не показывая, а сам по-прежнему вел разгульную жизнь и на вопросы о жене отвечал, что она тяжело больна.

Он рыскал по краю, высматривая рудные богатства. Подкупал чиновников, и те находили «законное» основание оттягивать жирные куски у промышленников в пользу Муромцева. И следом за ним волочилось прозвище Седой Гусар. В его разуме все крепче свивала гнездо жестокость. Муромцев полагал, что только жестокой силой, сея страх, можно держать в повиновении крепостной люд. Он уже умел похищать людей из раскольничьих скитов для своих заводов, а встречи с кержачками навели на мысль воровать и скитских детей.

Однако после первых облав на детей раскол бурно зашевелился по всему Уральскому краю, но, не найдя для себя защиты у закона, притаился, затих, запаливая пожары на заводах Муромцева.

Месть раскола бесила заводчика, он судорожно искал и не находил способов борьбы с кержачками и вымещал звериную злобу на пойманных раскольниках, до смерти избивая их в подвалах барского дома. К осуществлению своей неотвязной мечты о владычестве во всем крае Муромцев шел упрямо, с жестокостью к людям и без помех со стороны закона.

Приобретя в крае знатность и власть, он уже имел и в столице нужные знакомства, и ему казалось, что становится полным хозяином Уральского края. Всех, кто пытался противостоять ему, стремился убрать с пути с помощью подкупленного чиновничества, не останавливаясь ни перед чем.

Три года назад была поймана и приведена в дом Муромцева кержачка Агапия. Хозяин насильно сделал ее своей наложницей. И случилось то, о чем Муромцев не мог подумать – Агапия ловко прибрала к рукам его разум и волю. Тогда-то он и замыслил стать владельцем всей медной руды Урала...

Камин затухал. На углях снова толстым слоем лежал пух золы.

Муромцев слушал завывания бурана и думал о том, что весной, когда солнце растопит снега и вешними потоками омоет землю, он с помощью столичных друзей начнет воздвигать медный фундамент своей славы.

Буран завывал на разные голоса, а Муромцев засыпал, убаюканный сладкими мечтами.

\* \* \*

Агапия Власовна, сопровождаемая борзой, по заведенной привычке, обошла дом, проверила все запоры на дверях. Возвращаясь в свою горницу на мезонине, она спустилась на первый этаж, узнала у горничной, что хозяйка не спит, чуть приотворив дверь, заглянула в ее покой. В узкую щель увидела привычное. Огонек лампадки едва распугивал темноту комнаты, а в ней ходила молодая женщина.

Агапия боялась больной хозяйки. С первых встреч с ней, еще в доме в Старом заводе, пугалась ее синих с фиолетовым отливом глаз. Она никогда не переступала порог ее покоев, строго наказывала горничным без хозяина не выпускать барыню ходить по дому.

Вот и сегодня Агапия лишь взглянула на молодую хозяйку и, плотно прикрыв дверь, по широкой лестнице, устланной ковровой дорожкой, поднялась на второй этаж, миновала длинный коридор. А там, уже по крутой лестнице со скрипучими ступеньками, поднялась на мезонин.

Агапия вошла в горницу, затворила за собой дверь и села на кровать. Борзая, понюхав воздух с горьким запахом деревянного масла, громко зевнула, улеглась возле постели и, подняв голову, смотрела на хозяйку. Птички в клетках, попискивая, перепархивали с жердочки на жердочку. Агапия, услышав их суету, сказала с улыбкой:

– Обрадовались? Пришла я, пришла. Спите, неугомонные.

Комната Агапии узкая и длинная. В ней два венецианских окна. Из одного хорошо видна гранильная фабрика, плотина, заснеженный пруд. Из другого окна виден сад и двор, а дальше – крыши домов и маковки церквей города.

Перед множеством старообрядческих икон теплятся в комнате лампы. Заткнутые над ними пучки засохших цветов и трав обвисли. Тут и ромашки с колокольчиками, и ландыши вперемешку с васильками, незабудками, среди них колосья ржи и овса. Иконы по величине разные, но все темные. На иных из-за мелких трещин на краске совсем нельзя различить изображения, а видимые на иконах лики святых узколицы, во взглядах колючая, сварливая иступленность. Перед иконами аналой, на котором молитвенники и четки из кедровых орешков.

На жардиньерках вазоны с геранями, над ними клетки с чечетками. Широкая кровать с горкой подушек. Против нее зеркало, а рядом, на стене, висит одежда.

Пол в пестрых тряпичных ковриках.

Устало потянувшись, Агапия хотела встать и раздеться, но не встала. Перекинула подушки к стене и легла поперек кровати, подобрал ноги в синих сафьяновых сапожках с беличьей опушкой.

Агапия от новогодних бессонных ночей устала. Ее одолевала дремота.

В завывание ветра врывались тонкие протяжные высвисты, и, не переставая, в промерзшие стекла колотились мелкие крошки сухого снега.

Агапия любила зимние бураны. Вспоминалось детство, как слушала в скитах под вой буранов сказки старых людей про людскую и лесную премудрость. Под рулады буйного ветра слушала сказки, больше всех захватывала ее воображение сказка про Снегурочку, и в лесах, погребенных под снегом, она и себя представляла Снегурочкой.

В памяти Агапия всякую подробность о днях детства хранила особенно бережно и мыслями о них всегда заслонялась от всего, что пришлось пережить с тех лет, когда девичья коса стала тугой...

Агапия – дочь Власа и Калерии из скита, укрывшегося в лесных дебрях за Катавским заводом на горе Иремель. Древний скит. Угнездился в крае по воле пришельца-устюжанина еще при царе Алексее Михайловиче. Скит много раз горел, но вновь отстраивался, сохраняя изначальный облик. Для скита выбрано усторожливое место. Скалы и шиханы. Со всех сторон дремучие леса. Под высоченными елями с ветвями в сажень длиной, под богатырями-кедрами стоял скит, а вокруг него – пасеки на редких лужайках, засеянных льном. Укромное место у раскольников. Пока дойдешь к нему, надо осилить горные бурные речки, на версты растянувшиеся болота, зыбуны и трясины.

Только одна тропа соединяла его летом с остальным миром, но, и зная тропу, ходить по ней лучше с провожатым. Из этого скита в зимнюю пору впервые были уворованы дети для заводов Муромцева. Была с ними поймана и Агапия, но на ночлеге, задушив оберегавшего ее караульного, она убежала из полона. Недельку блуждала по лесам, отыскивая дорогу в родной скит. Ее, полузамерзшей, нашел, гоняясь за соболями, Тихон Зырин.

В тепле его лесной избы она не сразу оправилась от простуды. Потом полюбила спасителя за ласковость. В пору, когда от припека весеннего солнца заплакали, расставаясь с зимой, сосульки, Агапия стала ему женой. Бурной радостью наполнилась ее жизнь. Она решила никогда не покидать Тихона и забыть родной скит. Отцвели в мочажинах ландыши, и Тихон ушел в леса на старательство, пообещав вернуться по осени. Но осень отшумела шелестом опавшей листвы, легли снега новой зимы, а Тихон так и не пришел. Агапия родила мертвого мальчика.

Когда же она в беспамятстве билась в родильной горячке, набрали на избушку скитники, скрывавшиеся в лесах от царских облав. Они выходили больную. Указали путь к ее родному скиту. После долгих раздумий Агапия, так и не дождавшись возвращения Тихона, ушла в свой скит. Там неласково приняли опоганившую себя девственницу. Агапии пришлось в изнурительных молитвах и покаяниях искать очищения от своего невольного греха. Она стала совсем чужой среди еще недавно близких людей. Никто из них не мог постигнуть того, что она вернулась в скит не опоганенная, а осененная первым счастьем женщины и убитая горем трагического материнства. Агапия жила одиноко, без единого доброго слова сочувствия.

Прежняя жизнерадостность надломилась в Агапии. Она стала ненавидеть окружающих, молилась не о прощении своей души, а о наказании тех, кто не понимал происшедшего с ней. В ее разуме завелась злоба и постепенно словно бы соскоблила с души и сердца ласку и нежность, дарованные материнской заботой. Только сама Агапия знала, какая жила в ней ласка и нежность, да еще Тихон должен был знать...

Чем больше принуждали Агапию к посту и молитве, тем сильнее затвердевала ее злость. Как загнанная в западню волчица, она отгрызалась от нападков скитских старцев и стариц и неожиданно для всех одним рывком скинула с себя смиренность перед законами веры и законами людскими. Агапия ушла из скита по тающим снегам новой весны. Бродяжила по лесам с артелями хищников-золотоискателей, познавая горькую долю бесправной трудовой жизни.

На глухом прииске, в лунную ночь, у костра ее увидел Муромцев. Почувствовав недоброе в его огляде, она ушла с прииска, но по ее следу пошли барские люди и поймали в лесу. Агапия была одна, а их пятеро. Ее привели в барский дом в Старом заводе. Немало знала худого она про Седого Гусара. В изорванной одежде, в холодном поту стояла перед пьяными глазами заводчика и, не увидев в его руках плети, поняла, для чего понадобилась ему.

Из месяца в месяц ласково-лукаво, хитро и расчетливо утверждала над барином власть своей чувственности. Уже на второй год уверилась, что любое свое желание может исполнить руками барина.

Став в доме хозяйкой, не торопилась с желаньями и никому не показывала свою хозяйскую волю. А злоба все туже и туже стягивала обвязь на ее разуме. Агапия разузнавала про все темное о барине и стремилась стусить эту темень, внушая ему еще более шальные замыслы.

Когда раскольники потребовали навек успокоить Муромцева, она им обещала и даже взяла от них для расправы петлю из девичьих кос. Но и через год не выполнила обещанного, и тогда, по велению старцев, была проклята расколом. Агапия не испугалась проклятия. Она понимала: жизнь Муромцева в ее руках, и сама решит, что с ним сделать, но решение примет не по желанию тех, кто не поддержал ее там, в скиту, куда пришла она за утешением. Живя около Муромцева, следила за судьбой Тихона Зырина и все же ни разу не осмелилась его повидать.

Пребывала у заводчика в роскоши. Не думала и не загадывала вперед. Правда, временами у нее появлялись мысли о будущем, но приучать себя к ним не пыталась, ибо сама еще не определила, как будет жить...

Рывком открылась дверь, мякнули по-кошачьи петли. Услышав прерывистое дыхание, Агапия, приподняв голову, увидела горничную. Простоволосая девушка, запыхавшись, прошептала:

– Агапия Власовна!

– Опять, Глашка, как угорелая неслась по дому? Чего стряслось?

– И то стряслось. С Нового завода старшина караульной стражи пригнал. По виду не в себе мужик.

– Где сейчас?

– В людской трапезной.

Агапия встала с кровати, прошла по комнате, остановилась у окна. Горничная спросила вполголоса:

– Сюды старшину звать?

– Погоди.

Борзая подошла к хозяйке, лизнула ее руку, но Агапия строго сказала:

– Сиди, Мушка. – Обернувшись, посмотрела на горничную: – Пойдем.

Пропустив вперед себя девушку, Агапия спустилась по лестнице на первый этаж. Вошла в трапезную. Во мраке комнаты чуть желтила горевшая на столе свеча. Агапия не сразу нашла взглядом вставшего с лавки чернявого мужика с перевязанной головой. Даже кивком головы не ответив на его учтиво низкий поклон, Агапия, подойдя к старшине, заметила, что волосы бороды влажны от растаявшей изморози. Оглядела понурую могучую его осанку, спокойно спросила:

– По какой надобности пригнал, Егорыч?

– С глазу на глаз дозвожь сказать.

– Ступай, Глашка. Да смотри – створу двери ухом не подпирай.

Когда горничная ушла, старшина, кашлянув в кулак, произнес:

– Не осерчай сгоряча за недобрую весть.

– Добрых вестей от тебя не жду. Сказывай про недоброе.

Старшина, тяжело вздохнув, перекрестился и глухо вымолвил:

– Стало быть...

Но, учуяв холодок во взгляде Агапии, смолк.

– Сказывай. Никак от стужи голос перехватывает?

– На Новом заводе...

– Опять пожар?

Старшина, отступив шаг назад, вновь кашлянул в кулак.

Агапия сурово крикнула:

– Не бормочи!

– Агапия Власовна! Великая беда на заводе! Домны остыли!

Агапия, от неожиданности встряхнув головой, переспросила:

– Как остыли?..

– Погасили домны злодеи-бунтари крепостные. Углежоги, кои томят уголь в Гнилом логу.

– Чего плетешь? Аль рехнулся? Разумей, что говоришь. Ты же их караулил день и ночь со стражниками...

– Смяли нас, варнаки. Нежданно людностью навалились. Доменщики их сторону держали. Должно, сговор был. Потому злодеи подоспели, когда чугун сварился.

– Рыло! Выкручиваешься? – выкрикивала Агапия. – Слыхал, когда сговаривались?

– Не слыхал.

– Так и не домышляй враньем.

Встревоженная известием, Агапия металась по трапезной, всплескивая руками. Вновь подойдя к старшине, оглядела его и, улыбнувшись, спросила:

– Вижу, били тебя?

– Перепало.

– Почему сам пригнал? На кого завод бросил?

– Стражники все до единого сильно покалечены.

– Доверенный где?

– Еще перед Новым годом он на Старый завод уехал, к Комару.

– Когда буйство стряслось?

– Позавчерась.

– А ты здесь только седни обозначился? Недосуг было с похмелья?

– Каюсь! Труса праздновал! Сами знаете, каков барин. Хочу слезно просить... Потому, ежели сам встану перед барином, он меня пришибет.

– Неплохо надумал: за бабьей спиной укрыться. Нет, мужичок. Самолично барину доложишь о своем страшном нерадении о барском имуществе. Он тебе доверил его сохранность.

– Не погубите, Агапия Власовна! Христом богом прошу! – Старшина рухнул на колени.

– Чего молчишь про пожар?

– Не было огня. Злодеи без красного петуха обошлись. Покалечили нас, погасили домны и тягу дали.

– Ишь ты. Стало быть, на новый манер изладили свое злодейство. Вставай! Так и быть, сама барину скажу, а то, в самом деле, покойником станешь.

– Благодарствую.

– Вставай, говорю.

Старшина проворно поднялся с пола.

Агапия, задумавшись, отошла к столу. Машинально на нем передвинула ближе к краю свечу.

– Господи, Господи, какая беда барина подкараулила! Кто ватажил над углежогами?

– Кто? Все тот же Степка Левша. Он мне голову окровавил.

– Крепкая она у тебя, коли Степанов удар выдержала. Ступай. Пожуй всухомятку, часок поспи, но чтобы чуть свет твоего духа в доме не было. Заедешь на Старый завод. Велишь Комару немедля к барину явиться. Да пусть не позабудет доверенного с собой прихватить.

– Земной поклон, Агапия Власовна.

– Ладно. В своей избе лампадку засвети, чтобы Господь уберег меня от барского гнева, когда «обрадую» хозяина новой бедой. Ступай.

Агапия, погасив свечу, вышла из трапезной. По крутой лестнице в мезонин поднималась медленно, прислушиваясь к скрипу ступенек. О происшествии на Новом заводе барину решила сказать утром. Дойдя до двери своей комнаты, отворила ее, но тотчас плотно закрыла, сбежала по лестнице на второй этаж, по темному коридору добралась до палевой гостиной. Переступив порог, приблизилась к дивану, к лежавшему на нем Муромцеву. Кашлянула. Муромцев, увидев перед собой Агапию, обрадовался:

– Вовремя пришла, Гапа. Как же ты догадалась, что я весь коньяк выпил?

– Вовсе по другой надобности пришла.

– В чем дело?

– Домны на Новом заводе...

– Что домны? Чего мямлишь!

– Погасли они.

Муромцев мгновенно вскочил на ноги и, уставившись ошалело на Агапию, закричал:

– Что?..

– Погасли домны.

– Как погасли? Кто посмел погасить?

– Углежоги.

Муромцев, медленно попятившись назад, сел на диван.

– Углежоги? Так я и знал! Углежоги из Гнилого лога. А караул?.. – хрипло закричал Муромцев и, снова вскочив, заметался по гостиной, – Праздновали Новый год?.. Перепились до чертиков?.. Как доверенный и старшина допустили такое неслыханное преступление?

– Значит, барин, было у вас подозрение к углежогам?

– Они ненавидят меня. – Муромцев метнулся к столу и схватил пистолет.

Агапия подошла к нему:

– Неужели стрельбой злобу собираетесь сорвать? Обещали не пугать меня. Не сдержите слово – осерчаю на вас.

– Мне на это наплевать!

Агапия засмеялась:

– Вот развеселили! Чудной вы иной раз от злобы, барин. Разве осмелитесь наплевать на мои желания?

– Замолчи, дура! Неужели не можешь понять, что уничтожены новые домны. Ты же знаешь, сколько они стоили.

– Хотя и дура, но понимаю, что новые домны остыли от старой обиды работных людей. Вот оно как обернулось. И как додумались бунтари свою злобу на вас выплеснуть?

– Завод спалили?

– Целехонек завод. Вот и дивлюсь, что углежоги на новый манер пошли против барской власти.

– От кого все узнала?

– Караульный старшина Егорыч весть привез.

– Немедля его сюда!

– Обратно его услала. Завод без присмотра брошен.

– Без моего приказа?

– Виновата. Осмелилась без вашего дозволения. Завод без глаз оставлен. Аль неправильно поступила?

– Сейчас же туда сам поеду.

– За какой надобностью? Барским гневом домны не растопите.

– Боже мой! Страшно подумать, что я сделаю со злодеями. Всех перестреляю без всякого суда!

– Сперва надо их изловить, барин.

– Не люди, а бешеные волки.

– А у волков ноги дюжие на потайных тропках в наших лесах, да и от Сибири край Уральский заплотом высоким не огорожен. Так-то, барин.

Агапия взяла у Муромцева пистолет и положила в бархатный футляр.

– Коньяк сейчас принесу. Понимаю, что без вина вам неожиданную напасть никак не осилить...

## 2

Зима на снег выдалась не скупая. Редкий день вплоть до Нового года обходился без снегопада. Следом дохнули ветры, неодинаковые по силе, переходя то в голосистые вьюги, то в бешеные бураны. Они, словно обрадовавшись обилию снегов, принялись передувать их волнистыми сугробами, занося овраги, заметая приметы дорог и троп.

Уральские снега, под любым ветерком оживая, начинают снежную певучесть разнообразными мотивами, схожими с иными печальными напевами русских песен.

Зима на снег выдалась богатая. На Верх-Нейвинский завод навалила его вовсе лишку. До сказочности разукрасила берега верхней Нейвы, и без того живописную местность возле Таватуйского озера.

В густых лесах сгучились тут горы. Среди них скалы урочища Семь Братьев и Заплотного Камня, поодаль от них гора Букар.

На берегу озера вросло в лесистую землю раскольничье село Таватуй; по преданиям, почин людской жизни в нем положили сосланные на Камень стрельцы, бунтовавшие по наущению царевны Софьи.

Приглянулась местность Прокопию Акинфиевичу Демидову. Перегородив Нейву, он поставил возле пруда в тысяча семьсот шестьдесят втором году чугунолитейный завод. Селение дозволил строить просторно на склонах окрестных гор, а самой высокой из них дал имя – Сухая гора. По хозяйской воле, соорудили на ее вершине башню для наблюдения за округой на случай лесных пожаров.

Демидовским завод пробыл только семь лет. Прокопий Акинфиевич славился шальным характером. Обозлившись на сыновей за их нерадивость и пьяное мотовство, он неожиданно продал Невьянский завод вкуче с пятью другими заводами, в число коих угодил и Верх-Нейвинский. Демидовские родовые гнезда перешли к Савве Яковлеву.

В Верх-Нейвинске на подоле Сухой горы, где из-под земли били четыре родника, возвышалась усадьба постоянного двора Анфии Егоровны Шишкиной. Свое хозяйство Шишкина наладила с размахом. Два барака поставила, просторную хозяйскую избу, зимой в них тепло, летом не душно. Крытые дворы для постоя вмещали разом более семидесяти подвод. Хорошая молва шла про шишкинский двор. Даже дальние ямщики, направляясь в Екатеринбург, норовили вставать на постоя у Анфии Егоровны. За год множество подвод пользовались пристанищем ее усадьбы. А по весне заводские молодки и старухи, встречая Шишкину в церкви, с завистью дивились добротности ее нарядов.

Анфия Егоровна – мужнина жена, но в управлении хозяйством кипучей энергией отодвигала супруга на второй план. На заводе у нее прозвище – Хромоножка. Для слуха оно не очень звонкое и дано ей завистницами зря, так как Анфия Егоровна не хромала, а только слегка припадала на правую ногу. Лицо у хозяйки постоянного двора пригожее, это и служило причиной женской зависти.

В Верх-Нейвинске объявилась Шишкина лет двадцать назад, после того как чудом спаслась от смерти на Южном Урале.

В первом законном браке состояла она с купцом-хлебником. Жила с ним не в полной верности, потому как вживался в ее сердце молодой каслинский кузнец, расторгувский крепостной Мефодий Шишкин.

Однажды в осеннюю пору возвращалась она с мужем из Кыштыма с обозом муки. На глухой дороге напали на них душегубы. Мужа убили, а ее тяжело подрали. Анфия Егоровна от ножевых ран полгода лежала в постели, но выжила, только стала припадать на правую ногу. Оправившись от болезни, унаследовав мужнины капиталы, выкупила Мефодия Шишкина из крепости, уехала с ним в Верх-Нейвинск, там они и обвенчались.

С малолетства Анфия Егоровна питала особое пристрастие к лошадям, по этой причине обзавелась ими в Верх-Нейвинске, промышляя извозом. Потом поставила заезжий двор.

Любила она быть на народе. На постоялом дворе он всякий появлялся, и в каждом человеке своя житейская стезя. От ямщиков Шишкина про все на уральской земле знала, порой такое слышала, что кровь стыла.

С Мефодием жила в полной супружеской верности. Он по характеру был тихим, но лишнюю волю над собой жене брать не позволял.

От работы по обширному хозяйству Мефодий не отлынивал, но тосковал по кузнечному горну, оттого и дружил на заводе с работным людом. Был он грамотным. Книжки читал. Однако пристрастие к чтению, молчаливость и задумчивость настораживали заводское начальство, ревностно охранявшее порядки царской власти. Не нравились начальству думающие мужики после частых волнений на заводах. Конечно, Мефодий Шишкин – владелец постоянного двора, но раньше-то он был работным человеком, да еще в Каслях. Из тех мест не первый раз выходила на свет рабочая смута против господской власти. Горное начальство убедилось, что смута живуча, умеет затаиваться в головах простолюдинов. Вот тихая молчаливость Мефодия и настораживала. К тому же начальству известно, что появились в Уральском крае сеятели смуты, на вид смиренные, с ласковыми взглядами, но с опасными мыслями о какой-то новой правде, будто бы нужной для жизни рабочего люда. Из-за этого кой-кому в уезде Мефодий и казался человеком себе на уме. Ведь он родился от холопского корня. Возле кузнечного горна потел, надыхался железной окалиной. Посему и были на заводе люди, выполнявшие наказ приглядывать за Мефодием.

За ним наблюдали, но ничего зазорного не углядывали. Начальству доносили, что Шишкин хмельным не забавляется, водит знакомство с доменщиками, в летнюю пору ездит с ними на рыбалку, у костров беседует о немудрых житейских делах, про начальство хулы от него не слышно, господ-заводчиков ничем не укоряет. Но все же одним немаловажным обстоятельством снижает свою почтенность, ибо в церковь ходит совсем редко. А если придет с супругой, то за службой стоит, почти не крестясь, с закрытыми глазами. На вопросы, отчего прикрывает глаза в церкви, отвечает, что, слушая песнопение, не отвлекает себя взглядами, копит в разуме светлые мысли. Однако о чем сии мысли, не объясняет...

### 3

После недавнего злого бурана прихватила Урал стужа. В это утро верхневинцам показалось, что даже солнце от мороза поднялось в прядях куржи.

Когда отошла ранняя обедня, на заводских улицах появился при двух офицерах конный отряд горной стражи в шестьдесят сабель. В селение отряд въехал с невьянской дороги и, миновав плотину, свернул ко двору Шишкиной.

Спешившись у ворот по команде, стражники начали заводить коней во двор. Офицеры направились к хозяйской избе, у крыльца их встретила Анфия Егоровна с присущей ей почтительностью. Офицеры объявили, что располагаются на временный постой, приказали для себя истопить баню, приготовить харчи для отряда, не забыли и о фураже для коней. Старший офицер в чине капитана был в годах, другой офицер – намного моложе и, видимо, из барского сословия.

Мефодий Шишкин проявил большой интерес к приехавшему отряду, чем немало удивил супругу. Он самолично отправился выдать фураж, прихватив с собой штоф казенного вина, вероятно надеясь соблазном зелья оживить беседу с промерзшими стражниками. Мефодий рассчитывал, что они кое-что порасскажут. Ну хотя бы зачем отряд появился на заводе и куда держит путь...

Приослабший днем мороз к вечеру взял прежнюю силу.

Когда в окнах заводского селения стекла порыжели от закатных лучей солнца, с Сухой горы по едва видной тропе, переметанной холстинами поземок, спустился монах. Под ленивый лай собак из подворотен он переулками направился к шишкинской усадьбе. Снег под его лаптями похрустывал с веселостью – мороз, пробрав путника в немудрой одежде, заставлял его идти скорым шагом.

Приблизившись к усадьбе и увидев стражников, путник приостановился, хотел было свернуть в переулок, но понял, что стоявшие его заметили, а потому решительно направился к воротам.

Пересмехаясь между собой, стражники пропустили пришельца в калитку. Миновав двор, переполненный конями, человек поднялся на крыльцо ближнего барака. В темных сенях нащупал рукой дверь, за скобу потянул ее к себе, но она не открылась. Тогда он рванул с силой и отодрал примерзшую дверь.

С клубами морозного воздуха пришелец очутился в бараке, затуманенном табачным дымом. Сняв с головы башлык, повязанный поверх скуфейки, с трудом разглядев в красном углу образа, он перекрестился, затем отвесил поклон находившимся в горнице стражникам. Они смотрели на нежданного гостя, по обличию духовного звания, с уважительным любопытством. Пришелец чувствовал на себе их взгляды – иные до того к нему липли, будто присасывались. Но, не выказывая смущения от внимания к своей особе, спокойно стоял перед ними, невысокий ростом, крепыш по сложению, с округлым лицом, со светлыми бровями над глубоким подглазьем. Под скуфейкой угадывалась лысоватость; хилая бороденка походила по цвету

на лежалую солому, в темной синеве его глаз усталость. Незнакомец развязал ременную опояску, скинул армяк с обтрепанным подолом, оставшись в ветхом выгоревшем подряснике. Сел на лавку возле двери, снял лапти. Выколотил из них талый снег над бадьей у рукомойника, развернул онучи, босой направился к русской печке и, приложив ладони к ее боку, тихонько сказал:

– Морозец дельный, как гусак пощипывает.

Голос пришельца словно бы шелохнул затихшее с его приходом течение жизни в бараке. Шустрая девушка-служанка, вместе со всеми наблюдавшая за неожиданным гостем, вдруг кинулась к двери, толкнула ее и выбежала в сени. Она скоро вернулась, запыхавшись, высказала:

– Хозяйка велит тебе, отче, в ихнюю избу идти.

– Мне, отрочица, и здесь не худо. Сама видишь, служивые не гонят.

– Оно так, но хозяйка обязательно велела идти.

– Обязательно? Перечить не стану, – Пришелец, не торопясь, взял лапти с онучами и тихо сказал:

– Веди...

Просторная горница хозяйской избы с побуревшими бревенчатыми стенами устлана половиками с синими и красными полосами. На протенке возле голландки, окованной листовой медью, стенные часы с гириями, раскачивая маятник, ворковали по-голубиному. Горница тремя окнами, с тюлевыми шторками, выходила на закатную сторону. На полу подле окон деревянные кадучки с ветвистыми фикусами. Под их сенью стол, покрытый белой скатертью с широкой каймой, вышитой синими и черными петухами. На столе самовар, чайная посуда, вазочки с вареньем и медом, тарелки с наливными шаньгами и сладкими пирогами с морковью.

Возле стен стулья с мягкими сиденьями, два кресла и диван с высокими темными спинками, а на них накладные украшения из меди.

Пришелец увидел за столом двух офицеров, дородную женщину, с пуховой шалью на плечах, и в цивильном платье мужчину. Оглядев сидящих, отвесил им низкий поклон. И едва поднял голову, как услышал распевный голос женщины:

– Садись, отче, к горячему самовару. Почаевничай с нами. Гостям завсегда рады, понеже они у нас чаще всего неожиданные. Ознакомься с господами офицерами, дорогими нашими гостями. А это супруг мой – Мефодий Палыч, а я, стало быть, супруга и хозяйка, Анфия Егоровна.

Пришелец задержал взгляд на хозяйке – бывает так иногда, с первой встречи человек может понравиться – и назвал свое имя:

– Инок Симеон.

Хозяин только скользнул глазами по гостю, хотя бровь у него над правым глазом на мгновение изогнулась дужкой, будто удивился чему-то.

Инок сел рядом с хозяином после того, как тот, подвинувшись на лавке, указал на свободное место рукой.

Капитан насупился и начал откашливаться. Ему не по душе пришлось, что хозяйка самовольно, не спросив дозволения, усадила за стол с господами офицерами какого-то пришлого монаха в неопрятной рясе с заплатами на локтях.

– Может, опреж чаю откушать пожелаешь, отче? – обратилась хозяйка. – Не стесняйся, изъяви какое желание.

– Достойно благодарствую. Дозвольте чайком согреться. Приозяб малость.

– Еще бы. Замерзнуть можно, босиком разгуливая, – густым голосом проворчал капитан и расстегнул высокий воротник мундира.

Офицер смотрел на пришельца осоловелым взглядом, а про себя думал, что неприглядный облик монаха его раздражает. Да и не было в нем подобающей почтительности к военным

чинам. Капитан не сомневался, что неуважительность эта – врожденная, исходит от его холопского сословия, прикрытого монашеским чином. Капитан недолюбливал монахов, несмотря на то что они почитались божьими слугами. Пришелец не понравился капитану с первой минуты, когда не поклонился ему отдельно. Глаза у него были синие, хотя и усталые, но зоркие, видимо привыкшие разом все запоминать. Будто и не глядят на собеседника, а все видят. Такие глаза всегда непочтительны. Капитан нередко встречал подобные у холопов, коих приводил от смутянства к повиновению.

За столом наступило неловкое молчание. Капитан, окрасив голос суровостью, спросил:

– Отчего, монаше, босиком ходишь? Неужели в обители такая великая скудность, что даже валенок нет?

– У братии обители водятся валенки. Только в дальнем пути пешим ходом я, ваше благородие, больше уважаю лапти из-за их легости.

– Но в лаптях по такому холоду можно ноги отморозить.

– Мороз не страшен ногам и в лаптях, ежели их по-ладному запеленать сперва в соломку, опосля в сухие онучи. Привычка к лаптям тоже подмога.

Капитан хмыкнул:

– У тебя к ним привычка?

– Выходит так.

– Но пришел-то ты сюда босиком?

– Босиком. Не ожидал, что предстану перед вами. В бараке разулся. Позвольте недовольство высказать, ваше благородие?

– Недовольство? Чем? Говори.

– Мундирные молодцы ваши в казарме табачным дымом до ужаста начадили. Ну вовсе в жиле туман осенний, даже ликов святителей на иконах распознать нельзя.

Капитан откинулся на спинку кресла и громко засмеялся, его грузное тело заколыхалось, кадык затрепетал под жирным подбородком. Неожиданно он оборвал смех:

– Вы слышите, поручик?

– Так точно, господин капитан.

– Почему же не смеетесь?

– Виноват.

– Ступайте немедленно и убедитесь, действительно ли от табака икон не видно.

– Слушаюсь!

Поручик встал и, звякнув шпорами, вышел. Капитан оглядел сидевших за столом, протянул хозяйке свой пустой стакан:

– Плесните горяченького...

Анфия Егоровна налила офицеру чай и подвинула к нему стакан. Капитан положил малинового варенья в чай и, помешивая его в стакане, произнес:

– Если сказанное тобой, монаше, окажется правдивым, прикажу солдатам в избах табаком не забавляться.

Хозяйка все время исподволь наблюдала за иноком и заметила, как он поспешно съел шаньгу, запивая чаем. Догадалась, что человек голоден и только стеснительность не позволила ему воспользоваться предложением о еде. Налила второй стакан чаю, поставила ближе к нему вазочку с медом и тарелку с морковными пирогами.

– Кушай, отче, на здоровье. От стужи медок надежная заступа. Опосля в баньку сходишь. Господа офицеры ране помылись. А с тобой муженек мой за компанию помоемся. Тебе обязательно надобно попариться. Верно говорю, Фодя?

– Обязательно попаримся, Анфия Егоровна. Баня у нас, отец, по-белому топится.

– Преотменная баня, – подхватил капитан. – А веники – восторг. От каких берез нарезаешь, хозяин?

- От уральских, ваше благородие.
- Но почему от них после запарки исходит особенный аромат?
- От умения в пору ветки нарезать, покедова в листве молодая зеленость.
- Неужели и веники надо вовремя готовить?
- Обязательно вовремя, ваше благородие.

Пришелец не принимал участия в разговоре, и капитану вдруг захотелось нагнать на него страх каким-нибудь неожиданным вопросом, заставить растеряться. Отхлебнув из стакана чай, капитан уставился на инока и громко спросил:

- В каком сословии значился, монаше, перед уходом в монастырь?

Пришелец погладил рукой бородку и ответил:

– Смирненно приняв постриг, навек схоронил память вместе с мирским именем, а заново народившись с именем Симеона, стал грешным рабом божьим.

- Может, скажешь, откуда путь держишь?
  - Скажу. Из Табынской обители иду.
  - Где же таковая находится?
  - В сибирской стороне.
  - И ты оттуда идешь пешком?
  - Иной раз на обозные подводы подсаживаюсь.
  - Повидал Сибирь?
  - Повидал, но, конечно, не всю. Она большущая.
  - Как в ней простой народ царский закон сохраняет?
  - Как? – Инок пожал плечами. – Как подобает. Сибиряки – народ сурьезный, ваше благородие. Окромя всего и сторона таежная, посему вольности с законами не дозволяет.
  - Холопам там вольготно. Без господской руки живут.
  - А им, ваше благородие, одной царской десницы хватает.
  - А отсюда куда пойдешь?
  - В Первопрестольную.
  - За какой надобностью?
  - Послан братией повидать богатую московскую барыню, пожелавшую сделать денежный вклад в нашу обитель.
  - В Москву идешь, а одет совсем нищенски.
  - По вашему разумению, видать, одежда моя не совсем подходящая для Первопрестольной? Вот ведь как. А я думал, на мне ряса как ряса.
- Капитан встал из-за стола и, напевая, прошелся по горнице.
- Не плохо живете, хозяйева. Думаю, что мы и завтра у вас постоим. Попрошу посему к обеду поросеночка зажарить. Отменно готовите.
  - Как прикажете, так и изладим, – ответила Анфия Егоровна, вспыхнув румянцем от похвалы.
  - Пожалуй, до ужина и прилечь не грешно?
  - Сделайте милость. Та дверь в опочивальню. Мы уж вам ее уступим. Невелика она, зато теплая. Постели давно изложены.
- Капитан направился к двери, но вопрос пришельца заставил остановиться.
- Сами, ваше благородие, куда направляетесь?
  - В Екатеринбург, по приказу генерала Глинки.
  - Понадобились генералу?
  - Мое дело – укреплять порядок среди рабочих на заводах.
  - Неужли они рушат порядок?
  - Бывает, что и рушат. Смутьяны среди них заводятся, один недавно посмел бежать из верхотурского острога.

– Не скажите. Из острога убежал? А караул чего глядел? – повисив голос, спрашивал инок.

– Караул? Нализались браги и проспали, сукины дети.

– Вот ведь как. Приставлены варнаков караулить, а они ворон ловят. Поди имечко беглого знаете?

– Не интересовался.

Возвратился в горницу поручик.

– Ну что выяснили? – любопытствовал капитан.

– От табачного дыма в бараке действительно туманно.

– Иконы видны?

– Никак нет.

– Приказываю! – Капитан, заложив руки за спину, прошелся по горнице, придвинулся вплотную к поручику: – Приказываю запретить нижним чинам курение табака в жилых помещениях.

– Слушаюсь! Разрешите выполнить приказание?

– Не торопитесь. Утро вечера мудренее. Сейчас составьте компанию поспать часок перед ужином.

– Слушаюсь!

Офицеры удалились в отведенную им комнату. Инок, напившись чаю, перевернул на блюде стакан вверх дном.

В горнице с горящей свечой в руках появилась девушка. Сняв у порога валенки, поставила свечу на стол и начала собирать посуду.

Анфия Егоровна обратилась к мужу:

– Пора, кажись, Фодя, в баню идти.

– Пора так пора. Пойдем, отец.

– Только ты не вздумай, отче, в баню в лаптях идти. Муж тебе валенки даст. Слышишь, чего говорю, Фодя?

– Слышу. Без твоего наказа обул бы гостя...

Хозяин и пришелец, прихватив медные тазы и веники, вышли из избы в темноту крытого двора. Тускло горели три фонаря на подворье, едва освещая закуржавевших от инея лошадей, с хрустом жующих овес и сено.

К людям подбежали лохматые псы, деловито обнюхали валенки монаха и, учуяв знакомый запах, повиливая хвостами, проводили до огорода.

Хозяин первым ступил в предбанник и зажег сальную свечу. Следом вошел гость, запер дверь на засов, и тогда хозяин кинулся к нему, крепко обнял, шепотом выговаривал:

– Савватий! Савватушка, дружок! Живой! Дождался тебя!

– Земной поклон тебе за помощь, Мефодий.

Разжав объятие, Мефодий усадил Савватия на лавку.

Ему хотелось сразу обо всем расспросить, но волнение перехватывало голос. Не мог говорить и Савватий.

Отблески от огонька свечи вспыхивали искрами в их влажных глазах...

Мефодий Шишкин, по давней привычке не перечить твердому слову супруге, отвел Савватия ночевать в сторожку – и все потому, что, пока они мылись в бане, капитан высказал хозяйке недовольство пребыванием неведомого монаха под одной крышей с офицерами.

Постоянный обитатель сторожки – старик, по ночам на воле караулит хозяйское добро; он отягчен всякими недугами, из-за этого большой охотник тепла. Печь в сторожке истоплена по-жаркому, на стеклах окошка пушистый иней в водяных натеках.

Ночь с ветерком. Наносит он порой разноголосый собачий лай, нарушая торжественное безмолвие студеной ночи, и поди пойми, отчего у псов беспокойство, то ли от стужи, то ли недоброе чуют.

Отнесет ветерок лай в сторону, слышится перестук колотушек, и громко хлощет по-куриному колотушка хозяйского караульного, когда близко подходит к сторожке.

Савватий уже давно лежит на лавке на разостланном тулупе, а сна нет. Ворошатся мысли. Вот одна вдруг покажется дельной, но ее разом заслонит сомнение. Как не быть сомнениям? Часто Савватий ошибался в замыслах. Иные казались ему правильными, необходимыми на жизненной тропе, а на поверку заводили его в тупички, из которых по-трудному приходилось выбираться.

Не мог Савватий заснуть не от тревог, а от радостного волнения после встречи с Мефодием.

Прошло шесть лет с последнего их краткого свидания. Да разве можно встречи украдкой называть свиданиями? А в общем-то, двадцать зим отбуранило с тех пор, когда вдовья купчиха увезла кузнеца Мефодия из Каслей и порвала кольцо мужской дружбы.

От бессонницы у Савватия мечутся мысли. Суровую жизненную тропу протаптывает. Радостного было мало, да и кончились все радости, как минуло босоное детство, когда даже голодуха переносилась только с морщинкой на лбу и забывалась во сне.

Далеко ушел от детства за прожитые сорок лет, а память будто ничего не потеряла. Помнит Савватий, как его родителей продал помещик скупщику с уральских заводов. Помнит, как гнали их утугой в шестьдесят голов, с ребятишками, по пыльным и грязным дорогам из Смоленской губернии. Помнит, как по ночам на привалах, чтобы бабы и мужики не сбежали, их приковывали цепями друг к другу за ноги. Помнит, как на уральской земле отцу Савватия, пахарю Зоту Крышину, приказали стать доменщиком, мать заставили поднимать тачкой руду на домну, а Савватий терся возле материнской тачки, помогая нагружать в нее комья железной руды. Шел Савватию одиннадцатый годок, когда он попался на глаза литейному мастеру Пахому. Тот выпросил паренька у приказчика себе в подручные и стал обучать, как кожух набивать, как колпак ладить, формы сушить перед отливом. Дельное литье выходит от правильной формовки. В ней вся сила литейщика. Старание Савватия пришлось по душе Пахому, и литейный умелец терпеливо учил его премудростям ремесла. Савватий бережно складывал в разуме заветы учителя, а потом стал и свои выдумки применять при формовке и при отливе формы, да так неплохо, что Пахом иной раз называл его «умельцем». Нравилось Савватию превращать серый чугун то в кружево, то в какую-нибудь занятную фигурку.

Чего только не приходилось Савватию отливать под ведущей рукой Пахома! Лил узорные, кружевные решетки, плиты с замысловатой вязью букв и ларцы, научился сам вырезать модели для отливок, вызывавших удивление. Постиг чекань на отливках и воронение. Своим умением укреплял по Уральскому краю славу каслинских литейщиков. Отлитые Савватием решетки из чугуна и меди увозились в стольный град на Неве, Москву, Екатеринбург для украшения оград двorcов вельмож и богачей.

Став литейным умельцем, Савватий принимал близко к сердцу невзгоды работного люда.

Хотя и родился Савватий в курной крестьянской избе, ему не пришлось ходить по борозде за сохой, не довелось слушать звенящую песню косы на душистых покосных лугах в родном Смоленском краю.

По чужой воле, завод отлучил его от земли дедов и расплавленным чугуном сроднил с новой, рабочей судьбой; все же тянуло его весной к земле, когда она скидывала с себя зимнюю обузу снега и льда. Не мог он оторвать память от красот природы, недаром в формах его диковинных отливок переплетались узоры веток, цветов и колосьев. Была в его отливках неповторимая правда о чудесах природы, будто лил он свои узоры не из чугуна, будто просто окаменели веточки, цветы и колосья по колдовскому волшебству.

Молодым пережил придавившее душу первое большое горе. Как-то, вернувшись домой с работы, увидел на столе под домотканой холстиной мать – ее измученное сердце перестало биться. Вскоре ушел из жизни отец, так и не нажив смелости перечить заводскому начальству.

Савватий перенял характер деда с материнской стороны. Тот был гордым, непокорным и умер под плетями, не покорившись самодурству барина. У Савватия супротивность завелась с детства. Начав работу с Пахомом, он с его помощью осиливал грамоту. Однажды его застал с букварем приказчик и хлестнул нагайкой, а Савватий, кинувшись на обидчика, вырвал нагайку, исхлестал приказчика. За это парень был жестоко посечен плетями, брошен на две недели в комариную яму возле гнилых болот. В той яме и произошла его встреча с Мефодием Шишкиным, сдружился с ним. Был неразлучен с другом до тех пор, пока Мефодий не уехал из Каслей, сменив кузнечный горн на ласку купчихи.

Закралась и в сердце Савватия любовь, но не принесла счастья. Любимую барский сынок проиграл в карты. Осталась на душе саднящая рана от горя и обиды. Тогда-то и началась у него иная жизнь, с помыслами не только о своей судьбе, а о судьбах всех, кто около него носил звание работного человека. Появились мысли, что именно руками работных людей создается сытость, покой, непобедимость государства. А господа, владеющие по ревизским спискам их душами, по барскому лихому наитию принижают людское достоинство, а то и меняют крепостных на гончих собак, проигрывают в карты, как будто это перстни, снятые с пальцев барских рук.

Савватий скоро убедился, что у многих работных людей тоже роятся мысли об иной жизни. Говорил ему о необходимости перемен вернувшийся с солдатчины дядя Емельян Крышин. Изрядно порассказал он племяннику о жертвенной смелости пахарей и работных людей, наряженных царем в солдатские мундиры, спасших отечество от нашествия Наполеона.

Дядины бывальщины помогли Савватию осознать, что в руках и разуме простолюдинов хранится неодолимая сила, что от грозной беды их грудью заслоняются господа, а в благодарность награждают сермяжных спасителей острогами, кандалами, нагайками.

Размышляя о вольности, о нраве на иную жизнь среди извечного бесправия, Савватий и накопил смелость испросить защиту для работного люда у царя Александра Первого, когда тот приезжал на Урал за год до своей смерти.

Передавая царю бумагу с мольбой о милосердии к простому люду на горнозаводской каторге, Савватий верил, что царь защитит от зверств заводчиков.

Савватий и сейчас помнит ласковое выражение царских глаз, почудилось ему тогда, что царь поймет его мольбу о бесправной участи работного люда, окажется отцом милостивым для своего народа.

С каким нетерпением несколько бессонных ночей ожидал Савватий царской милости и – дождался: как только царь покинул Урал, Савватия высекли плетями, взяли в железа и засудили за смутьянство на пять лет.

До чердынского острога, в котором сидел Савватий, дошла весть о господском бунте в Петербурге. Не мог он понять смысла, отчего офицеры взбунтовались против нового царя. Не мог поверить, что господа учинили бунт ради простого народа...

И все же весть о петербургском бунте пробудила в Савватии стремление к свободе, и он выискал случай для побега из острога. Убежав, скрадывался в глухих лесах Конжаковского Камня, тайком посещал тамошние заводы, прииски и шахты; работные люди вслушивались в его слова о том, что пора искать пути к вольной жизни. Последовал бунт в Богословском заводе госпожи Половцевой. Работные люди требовали убавить уроки и учинить справедливую плату. Своеволие и ослушание рабочих были подавлены воинской силой. Савватия и его друзей, по предательскому доносу, поймали и осудили. Савватия сослали в тюменский острог на восемь лет.

Нежданно пришел к нему на помощь верный друг Мефодий Шишкин и помог осуществить вторичный побег. Но не послушался Савватий совета Мефодия некоторое время пожить в Сибири и опять появился на Южном Урале, где о нем уже ходила в народе молва как о раздетеле за судьбы работного люда.

Через два года после тайного укрытия Савватия начались волнения на приисках и рудниках, потом перекинулись на заводы Южного Урала, которые не так легко было усмирять даже воинской силой. На одном из приисков Савватий простудился, и больным был схвачен во время облавы, но не опознан. Ему удалось выдать себя за другого, и после суда над зачинщиками волнений он снова был посажен в верхотурский острог. А в народе жила уверенность, что Савватий из Каслей на свободе.

Волнения на Южном Урале по-прежнему не стихали...

В окошко просеивается мгlistость зимнего рассвета.

В усадьбе пропели первые петухи. Донеслись со двора громкие людские голоса.

Так и не заснул Савватий. Встал с лавки, накинув армяк, вышел во двор. Фыркают лошади. Седлают их, переругиваясь, стражники и выводят коней в распахнутые ворота.

Орет капитан, отдавая команду, пересыпая ее крепкими словечками. Потом все стихло. На заезде дворе Анфий Егоровны кончился постой воинской части. Савватий вышел в раскрытые ворота, к нему подошел, прихрамывая, караульный, перекрестившись, сказал:

– Убрались, слава те господи, мундирные живоглоты. Как поспалось, отец?

– Благодарствую.

– Теперича мой черед соснуть. Малость продрог, ночь была с ветреным прихватом. Чать, слышал, как псы во всей округе брехали? Верная примета на дюжий мороз. Сделай милость, подсоби ворота затворить, а то Егоровна начнет пилить за недогляд.

Исполняя просьбу караульного, Савватий стал закрывать створу ворот.

#### 4

На третье утро Савватий пошел в церковь, чтобы не вызвать у кого-либо к себе подозрение.

Народу в богатом, просторном храме мало, да и топят его со скупостью, потому парок виден от дыхания молящихся. Пол выложен литыми из чугуна плитами, а в зимнюю пору от одного погляда на них в дрожь бросает.

Савватий встал возле колонны у киота с иконой Николая-угодника. Перед ней две лампы теплятся, оттого лицо Савватия на свету.

Священник, правящий службу, выходя на амвон с кадилом, заметил монаха, то и дело кадил в его сторону, на что Савватий отвечивал глубокие поясные поклоны.

Перед концом обедни с клироса сошел псаломщик, приблизился к Савватию и, недружелюбно оглядев его, нехотя, совсем неприветливо высказал:

– В алтарь ступай.

– Пошто? – удивился Савватий.

– По-ш-ш-то? – растягивая слово, передразнил псаломщик. – Велят, так иди.

Хмурое, изрытое морщинами лицо псаломщика, со взглядом слезящихся глаз, в оправе припухших красноватых век, Савватию не понравилось, он опасливо огляделся по сторонам, остановив взор на стражнике, водружавшем у распятия свечку, но все же последовал за псаломщиком.

Ступив в алтарь, перекрестился, подошел к священнику и коснулся губами его благословлявшей руки:

– Человек велел перед тобой, батюшка, обозначиться.

Священник оглядел незнакомца:

– Скажи, инок, из какой обители?

– Из Табынской.

– Стало быть, это ты. Только как-то неладно. Гостишь в заводе, а в церковь не ходишь.

– Истинно говоришь. Согрешил. Занемог малость. Видать, остуда меня прихватила.

Священник, взглянув на лапти Савватия, соболезнующе произнес:

– Обутки у тебя не ко времени. Видать, по обету носишь.

– Сподручно в них.

– Тебе видней. Стало быть, ты и есть из Табынской обители. Слыхивал про твой монастырь. Старинный... Как про тебя узнал?.. Вчерась запоздно по вечеру солдат конной стражи наведывался ко мне домой, чтобы дознаться, есть ли Табынская обитель в сибирской стороне.

– Знамо есть.

– Я его заверил в том, но любопытствовал, кто его ко мне дослал. Солдат доложил, что по приказу командира. Сказал, что его благородие сомневается, есть ли такая обитель. Ты где того командира повидал?

– У Шишкиных стою. С его благородием за одним столом чаевничал, а он, накое, вдруг сомнение возымел, что ему про обитель неправду сказал. И пошто засомневался?

– Ума к тому, инок, не клади. В нашем краю военное начальство недоверием к людям обороняется. Во всяком рабе божьем не того углядывает, кем он на свете значится.

– Так видать же, что монах я, а он все одно сомневается.

Священник взял с престола просвиру и подал Савватию:

– Возьми. У хороших людей стоишь. Поклон передавай хозяевам. Коли явится какая нужда, ко мне стучись.

– Благодарствую, батюшка. Христос тебе во спасение...

Вернувшись из церкви, Савватий застал во дворе хозяйку, наблюдавшую, как кучер из сена ладил сиденье в ковровой кошеве. Увидев пришельца, она спросила его:

– Никак от обедни?

– Отстоял раннюю. Просвиру вот тебе от батюшки принес. Кланяться велел.

– Спасибо за заботу обо мне, грешной.

– Так уж и от меня прими благодарение за душевное тепло под твоей крышей. Никак собралась куда?

– И то собралась. Решила в Екатеринбург сгонять. Овес в хозяйстве на исходе, стало быть, пора подкупать. Цены-то, слыхала, будто подходящие. Боюсь, чтобы не подорожал. Ты, сделай милость, без меня не уходи. – Заметив, что Савватий опять в лаптях, всплеснула руками и заговорила с обидой: – Господи боже мой, нет на тебя управы, упрямец! Пошто не в валенках?

– Так...

Хозяйка перебила его:

– Ведь насмерть застудишься. А тебе вон куда надо! В Москву. Так, гляди, наказываю: без меня со двора не сходи. С Мефодием беседуй, он у меня мужик рассудительный. А уж по характеру такой сговорчивый, такой непоперченный, оттого и живем с ним душа в душу. Ступай в избу. Велела тебя чаем с горячими шаньгами угостить.

– Благодарствую. В городе поди долго прогостишь?

– Что ты. Завтре к вечеру обернусь, сам видишь, какое хозяйство на моих руках.

После полудня солнечный свет, пронизывая причудливые узоры инея на промерзших стеклах, золотыми полосами лег на половики хозяйской горницы.

Савватий с Мефодием сидели на диване.

После отъезда Анфий Егоровны, оставшись наедине, они получили наконец возможность поговорить без утайки. Савватий рассказывал о своем побеге из верхотурского острога.

– Дожжило в то утро, а у меня в ненастье на душе завсегда тоскливость. Нежданно выкликнули меня к караульному начальнику. Боялись мы его. Без причины, вроде как для забавы, по зубам бил. И надо признать – мастером был на сей счет. Ну, объявился перед ним в праведной, вижу, стоит молодой парень. Кинулся он ко мне разом обниматься. Оторопел я, а он шепчет мне, чтобы тоже выражал радость. Караульный начальник, поглядев на нас, вышел. Тогда парень засыпал скороговоркой да выложил мне, что прислан тобой с умыслом о моем убеге. Парень велит верить каждому его слову. Чтобы не было у меня сомнения, что он от тебя, помянул имена моих померших родителей. Тут я поверил. Потому ты знавал их по Каслям. Парень толкует мне, а у меня во рту от волнения горечь, в ушах звон, но все слышу, что наказывает. Сперва велит прикинуться богомольным, ходить с арестантами в монастырскую церковь. Говорит, что под осень монахи для топки печей в монастыре нанимают в истопники осторожных арестантов. Велит и мне напроситься.

– Ничего не утаивай, все припомни, как было, Савватушка.

– Да разве такое позабудешь? Слушай дале. Наказы человека я выполнил. Когда стал густо опадать желтый лист, определили меня вместе с другими арестантами в истопники. Под присмотром стражников начали в монастыре дрова заготовливать. И одинова, вовсе будто невзначай, подошел ко мне опять твой человек, но только уж в подряснике послушника, вроде как от монастыря за нашей работой присматривает. Стал меня обучать, как сподручнее чурки колоть, а сам опять наказывает ладом поглядеть бревна, наваленные возле монастырской стены. В том месте стена тянется по кромке лесистого овражка. Пока дрова кололи, твой парень в облике послушника частенько возле меня терся. Зима подошла. Выдалась, сам знаешь, споначалу снежная и морозная. Вот сказываю тебе, а самого то в жар, то в озноб кидает.

Савватий встал с дивана, подошел к печке, прижал ладони к ее медным бокам, помолчал и опять заговорил, не оборачиваясь к Мефодию:

– Недели за две перед Рождеством велели мне дрова к печам в покой игумена носить. Ношу охапки, а по пятам ходит стражник. Тащу, кажись, седьмую охапку и вижу на крыльце твоего парня. Стал он стражнику выговаривать, чтобы тот не ходил за мной в покои, потому, дескать, плохо ноги отряхает от снегу и на полах мокреть разводит. Говорит, что сам за мной в покое станет приглядывать и не хуже его меня укараулит. Стражник сперва в амбицию вломился, как это так перед ним такой запрет кладут, но потом махнул рукой. Вошли мы без стражника в покой, а парень мне и выложил, что через два дня в субботний день, за всеобщей, надо мне бежать, да и помянул, какой даст в церкви знак для убега.

Савватий прислонился спиной к печке и задумался.

– Чего замолчал? – нетерпеливо спросил Мефодий.

– Выужило крепко с утра в ту субботу. Боялся я, что отменят поход в церковь, но, на мою радость, в церковь нас повели. Стою в третьем ряду арестантов. Самого дрожь бьет. Слушаю службу, а помыслы – о знаке для убега. Запел хор «Свете тихий», и вдруг у амвона женщина заголосила не своим голосом, пала на пол, стала в припадке падучей корчиться. Это и был договоренный знак. В храме переполох поднялся. Люди кинулись к женщине, смяли ряды арестантов, заметались стражники возле нас. Гляжу, в подсвечниках стали свечи гаснуть в той стороне, куда мне бежать – в левый придел. Рванулся туда да сшибся со стражником. Звякнул его изо всей силы кулаком да – в алтарь, а там меня парень ждал. Вместе выбежали на монастырский двор, переулками между келий побежали к ограде. Сам не помню, как взобрался по бревнам на гребень стены, бегу по нему, а за мной парень. Велит прыгать. Я махнул в темень, по сугробу кубарем покатился в овражек. Теперича перед тобой. Вот только дельных слов для благодарности никак высказать не могу.

– Да мне их и не надо. Какой день счастливецом живу, на тебя глядя. Что пришлось обрядиться в монашескую лопотину, не серчай, Савватушка. Задумав вызволить тебя из острога, мы с тем человеком не сразу решили, как тебя попервости на воле от беды оберечь. Вот и замыслили, что в обличии монаха самое лучшее обережение. К монахам всякое начальство меньше вяжется.

– Умно затеяли. Все так обошлось, что до сей поры дивлюсь, будто сон гляжу. Как велишь вызволителя поминать? Он мне так и не назвался.

– И от меня имени его не услышишь. Человек верный. Работником у меня два года жил. Беглый человек. В крае нашем после вызволения тебя след его простыл.

– Чего сдеялось?

– В Сибирь подался. Из неволи убог совсем недавно. Барина его за столичный бунт в сибирскую каторгу услали. Все время таил в себе замысел, как ему к сосланному барину добратся. Дознаться порешил, по какой причине господа взбунтовались против царя. И верно ли, что хотели работному люду волю добыть. Хотелось ему дознаться, в чем господа в бунте ошибку сотворили. Пошто не осилили царскую сторону да сами угодили кто в петлю, кто в каторгу.

Савватия сказанное ошеломило, от удивления он даже рот рукой прикрыл.

– Вижу, озадачил тебя?

– Неужли считал, что из-за господской ошибки царь ихний бунт примял?

– Так и считал безо всякого сомнения, что у господ не хватило смекалки ладом взбунтоваться. Тревожусь, Савватий, за него. Доберется ли до своего барина? Рисковый характером. Ни дать ни взять забубенная головушка. Вроде тебя, когда ты парнем был.

– Доберется, в том не сомневайся, Мефодий. Эдакий парень да чтобы не зажал в кулак желанное? Ведь как меня ловко вызволил... Вот бы поговорить с ним теперича. Может, и я какую ошибку сотворил, когда царю бумагу с «плачем» о нашей горькой доле подал. Может, совсем не так надо было отписывать царю. А может, царь мою бумагу не читал и начальники без его слова в острог меня упекли.

Савватий замолчал под пристальным взглядом Мефодия. Еще во время рассказа о побеге Савватий заметил удивление в глазах друга и спросил:

– Чего поглядом обскабливаешь?

– Дивлюсь, слушая. По виду ты будто тот же, да не совсем. Подумать опасаясь, неужли верхотурское сидение за три года примяло в тебе душевные силы. Ты вроде уверенность утерял. Может, скажешь? Чтобы тревога во мне не завелась.

– Так скажу. Не острог, а одинокие думы меня наизнанку выворотили. А от этого ты и учуял разность во мне. Так скажу. Кабы ты с парнем не надумал вызволить меня из острога, сам я ныне из него не убог. Отсидел бы положенный срок и на воле оказался с дозволения начальства.

– Вон как? – Мефодий, волнуясь, встал, махнул рукой, опять сел. – Та-а-ак... Давай все высказывай.

– Сказал...

– Врешь! Темнишь, Савватий! Утаить от меня хочешь, что веру в себя утерял. Пошто же раньше людям о себе неправду сказывал? Пошто заверял их, что станешь думать об их тягостной житейской доле да путь к воле искать? Пошто обманывал, ежели в совести твоей трещина была?

– Совесть мою, Мефодий, не хули. Она как была, так и есть совесть. Чистая она у меня, как родниковая вода. Но только уразумел, что не знаю, где для людей заступу от барского насилия найти. Может, у царя и дальше искать? Иль супротивным непокорством работных людей можно господ образумить?

– Не знаешь, говоришь? Парень на вызволение тебя пошел, тоже не ведая, как все для вас обоих обернется. Но в себя верил. И дело по-хорошему обошлось. В Сибирь теперича

отправился, не зная, как все сбудется, думал только, чтобы беспрерывно узнать от барина, из-за какой ошибки господский бунт покончился неудачей, омытой кровью. А Пугачев народ подымал, знал он, чем дело обернется? Что выпадет доля ему за крестьян, за работный люд на плахе голову сложить? Вот и ты, Савватий, выискивай, допрашивай с пристрастием свой разум, а не пужай себя покаянием за промашки, в деле сотворенные. – Мефодий поднялся, подошел к Савватию вплотную и, ткнув пальцем в его лоб, горячо заговорил: – Думай! Не позабывая, сколь годов копишь в разуме мысли про волю. Вспоминай чаще, как мы с тобой о ней в Каслях беседовали. А главное, не позабывай, что люди осередь себя приметили. Кабы ты пустобрехом был, они к твоим мыслям веры не рождали, не признавали бы в тебе разум, коим способен помочь им отыскать надобную тропу к правде работной жизни. А ты голову склонил.

– Какая теперича будет у меня жизнь? Знаешь, как буду мыкаться? У зайца и то житуха спокойнее.

– Ишь ты! Даже про косого вспомнил. Аль надумал меня разжалобить до слезы, чтобы начал тебя жалеть? Аль тягостно будет тебе привыкать к такой жизни? Аль в диковину она тебе? Аль не убегал ты до сей поры дважды из острога? Да и не жил будто на виду в рубленой избе. Аль позабыл, что лес да горы тебя оберегали, а пуще всего люди работные? Сколько годов значишься у начальства в разных бумагах беглым? Пошто же теперича свою песню жизни хочешь на иной погуд выпевать? Не жалостливый я, Савватий. По голове тебя гладить не стану за то, что верить в себя не хочешь.

– Мучит меня, Мефодий, мысль, не все я правильно ладил.

– А совесть тебя не мучит, что в разуме не те признания завел, ее не спросив?

– Не тронь, говорю, совесть.

– Я все в тебе трону. Дышать тебе не дам на новый манер. В чем неправду своих дел углядел? В очи мне гляди.

Савватий, вскинув голову, сорвал с нее скуфью и угрюмо слушал Мефодия.

– Чего боишься языком пошевелить, спрашиваю? Неужли порешил, что зря за страдания собратиев поднял руку против господ? Аль не жалко себя со всеми вкупе, что в крепостной сбруе под плетями живешь? Худо, Савватий, разум свой блюдешь. Чать, не мальчонка-несмышлениш, чтобы прожитые годы пересчитывать, отыскивая в них промашки, как проигранные бабки. Неужли и впрямь понять не можешь, отчего у тебя душевные мучения?

– Скажи...

– Да оттого, что, сидя в острогах, от людей себя отрывал. Оттого, что с тобой только и были твои же страдания. Господа не зря остроги придумали. Вовремя, выходит, я тебя вызволил, а то бы в пустых думах вовсе себя утерял.

– Одолевают сомнения всякие.

– Аль худо? Сомнения разум светлят. Сомневайся, да понимай, как надо ладить дело без промашек. Таким, как ты, на Камне работные люди надежду свою доверяют. Не думай, что только ты один людское горе видишь. Не думай, что только ты один в острогах сидел. Сколь людей за замысел о воле в лесах скрадываются, сколь их кандалами в Сибири брякают. Не думай, что без тебя не найдутся люди со смелым разумом о воле. От дури, видать, теперича беглой жизни испужался? Да кто ты? Аль уж не Савватий Крышин из Каслей? Пошто заверяешь меня, что в остроге с дурью сдружился? Разум не утерял, ежели ко мне путь отыскал. Жил ведь беглым. Хищничал на золоте. Отказывали тебе голодные люди разломить с тобой последний кусок черствого хлеба? Не спасали они тебя, когда стражники и солдаты, как волка, травили, загоняя в капкан? Вот даже Мефодий, коего другом считаешь, купчишка новоиспеченный, и тот тебя из острога вызволил.

– Да пойми, Мефодий...

– Понял! Истинный Господь, понял! Не думай, Савватий, что за высказанное трусом стану почитать. Но скажу, что мысли в разуме крепко перепутал да перемешал в них истину с

безверием. Ведь по своей воле с кличкой Бунтарь живешь в крае. Никто тебя не принуждал, сам понял, что надо оборонять людей от страданий. Сам встал на святую тропу борения.

– Не бунтарь я. Правде хочу защиту отыскать.

– Так зачинай думать мудрее ранишнего.

– Погоди, Мефодий, разве я отказываюсь?

– Не смеешь мысль в разуме о том заводить. Люди тебя помнят. Верят, что можешь искать путь к их правде о вольной жизни. Ты ведь заставил и меня поверить, поверить, что дознаешься, в чьих руках защита работного люда. Гляди, вот сподличал я сам перед собой, от любовного дурмана, а что вышло? Вольным живу, а себя стыжусь. Почему стыжусь? Потому, не помер во мне работный человек, кузнец Мефодий Шишкин под поддевкой купеческой, надетой на меня супругой. Не померла во мне боль о работных людях, коих некому выкупить. Глядя на меня, подумай, чтобы не стал ты после самого себя стыдиться. Вот я вольный, сытно живу, только работным людям я уже могу казаться чужим. Они думают, что могу и я, с господ беря пример, начать их плетью стегать. Аль мало таких водится? Люди тебе верят, сами посчитали, что водится в тебе разум, коим можешь помочь им догадаться, в каком месте их правда вольной жизни.

Мефодий говорил спокойно, но голос его временами перехватывало дыхание.

Савватий не двигался. От каждого слова Мефодия он только все крепче и крепче прижимался спиной к стене.

– Савватий, родимый, проснись от острожного дурмана! Не позволяй слабодушию смять разум. На воле ты сызнава, зачинай дышать по-вольному.

Савватий слушал Мефодия, и его взгляд постепенно обретал прежнюю строгость.

А солнце все так же ярко светило в окна, отливая золотые полосы на половиках...

## Глава третья

Весть о найденном уральском золоте продолжала будоражить Россию. Екатеринбург считал годы второго столетия своего существования по-купечески, как барыши. Его новый облик постепенно стирал с улиц внешность былой уральской крепости. Уже далеко от застав отодвинулись вырубленные и пожженные леса, но отступили с упрямой неохотой – как бы отстаивая право на прежнее место: молодые побеги елочек и сосенок настойчиво вылезали из земли на улицах, пустырях, огородах и площадях города.

Промышленники и купечество, богатея, заново перестраивали Екатеринбург, соединяли свои задумки с помыслами русских и иноземных зодчих. Мозолистые руки рабочего люда, выполняя их веления, сковывали с городских улиц унылую шаблонность.

К концу второго десятилетия девятнадцатого века, неустанно украшаясь, город изменился до неузнаваемости. Камень в строительстве все чаще и чаще вступал в спор с деревом и только пруд остался таким же, каким он был в давние времена, но в зеркальности его воды теперь отражались дома, схожие со столичными.

При Николае Первом власть главного начальника горных заводов Уральского хребта превратила Екатеринбург вроде государства в государстве, со всем тем уродством военного положения, кое царило в стране, и со всей мрачностью заводского крепостничества, не изменившегося со времен Петра, хотя теперь при экзекуциях первенство у плетей отнимали павловские шпицрутены.

В бурных потоках жизни Уральского края перед властью золота уравнивались в рангах и положениях дворянство, чиновничество и купечество. Все они в крае так или иначе были причастны к добыче драгоценного металла, при этом у них были одинаковые права на счастливые улыбки судьбы, одинаковые права стать возле золота более богатыми или нищими, и только приисковый и заводской люд неизменно владел одним правом на беспросветный каторжный труд.

В Российском государстве каждое столетие оставляло свои следы. По-особенному они отпечатывались в Уральском крае. Урал утвердил над всем свой собственный кондовый горно-лесной быт. В нем были и суровые порядки, и законы, и даже ужас империи – крепостное право было здесь на иной, еще более страшный лад. Да и заводская каторга переносилась уральцами тоже по-особенному. Трудовой люд, шагая в сбруе крепостничества, нес в своем разуме гордость, мужество, непокорность и мщение. Он до конца таил в себе боль страдания, не унижая себя перед угнетателями стоном и слезами о пощаде.

Суровая правда уральского быта, перепевы лесов выращивали смелые души, воспитывали в трудовом народе мудрость житейского навыка, хитрую и острую сметливость.

Россия, покусанная блохами Екатерины, исхлестанная шпицрутенами Павла, истерзанная жестокостью Аракчеева, запуганная экзекуцией Александра, вскрикивая от зуботычин Николая, мало думала о судьбе Уральского края, омытого Камой и отгороженного камнем лесистых гор.

В крае несметных богатств наглые домашние и пришлые воры лишь хищнически выхватывали с его земли золото и самоцветы, железо и медь, оставляя втуне еще неведомые сокровища недр. Те, кто правил страной, те, кто гнал уральцев на каторжный труд, нередко, позевывая после сытной еды, говорили вслух: «Душа вон, найди, коли велено, а ежели на поисках надобного на Урале народ дохнет, то не шибко велика беда: чего-чего, а народишку у матушки-России хватит...»

Народ России уже девяносто два года знал, что в камне и песке Урала водится золото. Люди заслушивались диковинными сказами про нечистую силу, оберегающую уральское золото от людских рук.

Девяносто два года прошло с того майского утра, когда Ерофей Марков, заложив шурф в Березовском логу, нашел золото, и богатеи, навеки замороженные его находкой, полоненные помыслом о наживе, непрестанно врывались в недра земли в поисках золотого счастья.

Легенды о первых счастливицах, намывших золотые горы, разносились ходоками по всей стране. Россия была наслышана про Расторгуева, Харитонова, Рязанова, Тарасова. Все они вышли из купечества, а поэтому и стали для него символами того, что уральское золото легче всего дается в руки купцов.

Путь купечества к золоту был мрачен и трагичен. Огромные состояния, скопленные поколениями, исчезали в перемывке «пустых» песков. Их хозяева, разорившись, сходили с ума, топились, вешались. Но тяга купечества к золоту не прекращалась. Врожденная страсть купцов к легкой наживе, болезненная жадность и мания тщеславия, несмотря на опасность разорения, гнала их к желтому металлу со всех концов России, они все плотней и плотней грудились на лесных тропах.

Не остались в стороне и дворяне, они срывали в России с земли целые деревни крестьян и перегоняли на Каменный пояс, ради прихоти стать золотопромышленниками. Барин даже в случае неудачи ничего не терял, он всегда мог продать на Урале живую рабочую силу, ибо покупателей на нее было много и цена за душу стояла более высокая, чем в европейской части России.

И все же дворянство, осторожничая, явиться к золоту запоздало и пришло к нему, когда лучшие золотоносные места были в руках купцов. Но кое-кто из дворян сумел присоединиться к жирным пирогам новоиспеченных миллионщиков, так как у купцов была неизживная чесотка родниться с барями. Дикая деньги толстосумов были великим соблазном, и немало старинных дворянских родов породнилось с купцами через сыновей и дочерей.

Екатеринбург стал центром скопления богатств. В городе миллионщики селились размашисто. Хвастались друг перед другом удачами. Перекорялись из зависти, плели интриги, распускали сплетни. Сорили легко нажитыми деньгами без цели и смысла. В домах богачей свивал пыльные тенета закостенелый быт домогостроя.

В девятнадцатом веке в Екатеринбурге обитала стая миллионщиков из купечества, в руках которых было зажато золотое счастье Урала. В этой стае водились разные люди по характерам и ухваткам наживы...

## Глава четвертая

### 1

В верстах восьмидесяти от Екатеринбурга на холме раскинулось древнее торговое село. Холм, обрываясь, скалистой кручей нависал над рекой, за которой до самого Екатеринбурга тянулись дремучие леса. На вершине обрыва, в сосновом бору, уже четверть века хоронилась заимка Тимофея Старцева.

Хозяин заимки обозначился на Урале года за четыре до Отечественной войны, а род его по древним купеческим корням был новгородским. Он рано схоронил родителей. Потом его захватила золотая лихорадка, и Старцев с небольшими деньгами подался на Каменный пояс. На мокрети золотоносных песков следы его новгородских подборов отпечатались ровно через год после появления в крае.

Горщик Тихон Зырин, повстречавшись со Старцевым на лесной тропе, сдружился с ним, продал ему место со знаками на золото. Старцев, заведя делянки, но не имея понятия о золотом промысле, доверился ловким, продувным зимогорам и в первое же лето зарыл в пески дочиства все свои капиталы.

Осенью он снова повстречался с Зыриным. Тот, узнав о неудаче нового дружка, сразу понял, что Старцев стал жертвой артели старателей-хищников. Тихон Зырин помог неудачнику разжиться деньгами, уговорил его по весне вторично попытать золотое счастье. На этот раз попытка под приглядом Зырина неожиданно обернулась большим золотом и не только вернула затраченные капиталы, но и принесла прибыль. Везение пришло в ту пору, когда Лев Расторгуев выхватывал из песков шальные миллионы, начинала по-серьезному богатеть Василиса Карнаухова, когда сказочные богатства наживались и терялись в течение недели.

Старцев, приобретя на золоте капитал, срубил заимку у обрыва холма, на задах торгового села. Однажды он встретил в старообрядческом скиту возле Саткинского завода статную девушку. Она обворожила его красотой, согласилась убежать к нему из скита, покрыться венцом, но только после того, как он отойдет от золотого промысла. Любовь к молодой кержачке вынудила Старцева выполнить условие. Он скрепя сердце отступился от золота и, став семейным, занялся скупкой и продажей пушнины. В торговле ему везло. Из года в год он увеличивал свое состояние. Но золото тянуло к себе Старцева. И как только поостыла любовь к жене, измученный завистью ко всем, кто наживался на золоте, он, не выдержав искушения, снова прилип к золотому делу. Купеческая жадность заставляла его идти на темные дела, он завел около себя дружков с давно потерянной совестью, стал пить. Часто упрекал жену, что она отвратила его от золота, пьяным бил ее; через несколько лет после рождения дочери несчастная женщина, не вынеся постоянных мужниных побоев, ушла в сибирский монастырь и там приняла постриг.

Развал семейного очага не образумил Старцева. По всему Уралу бродила худая молва о его разнузданном пьяном загуле; он избивал малолетнюю дочь, однажды так повредил ей ноги, что она стала калекой и ходить могла только на костылях.

Свои темные дела около золота Старцев обдeldывал всегда по букве закона. Разорил сотни людей. Он был беспощаден. Все знали, что иметь с ним дело опасно, вроде лезть в петлю, но, несмотря на это, все же находились жертвы, капиталы которых переходили в карман Старцева.

Так Старцев стал миллионщиком с прозвищем Филин, и прилипло оно к нему после того, как на воротах его заимки повесился разоренный им купец Лобанов.

Старцев научился дружить с кержачками, привлекать на свою сторону всесильных старцев-поводырей, а после смерти Расторгуева, не будучи раскольников, стал для них анге-

лом-хранителем, хотя через его руки и попадали в заводское крепостничество люди раскола. С помощью Старцева разоряли друг друга заводчики и промышленники.

Имея понятие о людской ненависти, Старцев после пятидесяти лет большую часть времени стал проводить в доме, постепенно отходил от темных изворотов около золота, но ссужал деньгами неудачников и за неуплату по векселям отнимал у них земельные угодья со всеми ведомыми и неведомыми богатствами их недр. На Урале никто точно не представлял размеры его состояния, зато все прекрасно знали, что принадлежащие ему земельные участки были всюду, куда простиралась уральская земля...

## 2

Внезапно налетевший буран застиг тройку Ксении Захаровны Курнавиной в открытом поле. Она возвращалась в Екатеринбург с мраморных каменоломен и вынуждена была свернуть с тракта на заимку Тимофея Старцева, укрыться от свирепой стихии.

\* \* \*

Приземистые, одноэтажные хоромы Старцева срублены из кедров. Над простором трапезной низко нависает потолок, покрытый замысловатой резьбой.

Сквозь узоры инея на окнах зимние сумерки мутнили горницу сизоватостью.

Глухо доносился сюда вой бурана.

Тимофей Старцев стоял, прислонившись к изразцам голландской печи. Заметный облик. Высокий. Широкоплечий. Из-под бровей пронизательно смотрят темные глаза, во взгляде их мало доброты. Волосы с крутой проседью подстрижены бобриком. Еще более густеет седина в пушистой лохматой бороде. На нем синий кафтан, надетый поверх холщовой рубахи, расширенной по вороту и подолу.

В кресле, укутавшись в шаль, сидела Ксения Захаровна и, откинув голову на высокую спинку, обитую лисьим мехом, внимала напевным звукам девичьего голоса. Они ширились, заполняли всю горницу и гасли в темных ее углах, и тогда на какое-то мгновение слышались протяжные вздохи бурана.

Пела Ирина, дочь Старцева. Она сидела возле окна на широкой лавке. На полу у ее ног лежали костыли.

Свет лампы желтил древние медные образа-складни, восковой отблеск бродил по бескровному лицу девушки. Обликом Ирина тоненькая, как деревцо, чахнувшее в мочажине болота. Спокойные, мягкие черты лица и тоскливый взгляд под взмахами длинных ресниц. Извивается по плечу и свисает почти до полу черная тугая девичья коса с алой лентой. На синем шелке сарафана вокруг шеи поблескивают грани изумрудных бус.

Пела Ирина, перебирая пальцами струны гитары. Пела старинную русскую песню, грустную, со словами про тоску от несчастной любви. Голос у девушки густой, низкий и душевный, пела она сегодня по просьбе заезжей гостьи.

Ксения Захаровна словно бы и слушала Ирину, да мысли ее были далеко – там, на каменоломне, в избе крепостного скульптора-умельца Сергея Ястребова. Ясен в памяти Ксении образ молодого каменотеса, думы о котором заставили ее в новогодние дни укатить в лесную глушь, погребенную под сугробными снегами.

Перепугав обитателей каменоломни неожиданным хозяйским наездом, Ксения всего четыре дня гостила в избе парня и только накануне отъезда осуществила свою мечту о его ласке...

Ирина умолкла, безвольно опустила руку, затем опять тронула струны и запела новую песню. Под ее напев снова поплыли перед глазами Ксении картины недавнего. Видела стены в

избе Сергея. Видела, как сама охватила горячую шею парня. Сама прижалась к нему в порыве ласки, успокоилась от его ответной на жестком соломенном тюфяке. Лежала счастливая, с закрытыми глазами, закинув руки за голову, вдыхая запахи свежей соломы. Потом в памяти ожила обратная дорога, наполненная сладкой дремотой от убаюкивающего скрипа полозьев, от монотонного перезвона колокольцев.

Она торопилась в Екатеринбург, везя в материнский дом обретенный покой утоленной страсти, торопилась, как будто боялась снова потерять его на лесных дорогах, но буран загнал ее в тепло чужого дома, под взгляды чужих людей.

– Совсем темно стало, – промолвила Ирина.

Вздрогнула Ксения и очнулась от воспоминаний.

– Так распелась и даже позабыла, что давно пора к ужину накрывать стол.

Ирина положила гитару на лавку. Наклонившись, подняла с полу костыли. Подложив их под мышки, встала, с трудом переставляя ноги, пошла мимо Ксении.

– Спасибо великое за песни, Ирина Тимофеевна.

Остановилась Ирина. Она ласково улыбнулась, в глазах вспыхнула радость.

– Что вы... Поди замучила их тоскливостью. Они старинные. Напеты еще при царе Петре, когда уносили в наши леса раскольники свою веру. Матушка научила меня их напевам. Мастерица была на песни.

Вспомнила мать, и разом погасла радость в глазах девушки, и опять в них прежняя тоска.

– Обещаю никогда не позабыть ваши песни.

– Благодарствую на таком высказе. Радостно мне, ежели они в самом деле поглянулись, – сказала Ирина и медленно вышла из горницы.

Ксения посмотрела на хозяина, увидела, как он поспешно смахнул рукой с глаз нависшие слезы.

Почувствовав на себе взгляд гостьи, Старцев, смущенно склонив голову, прошелся по горнице. Поскрипывали его сапоги. Остановился у окна, не оборачиваясь, сказал:

– Умеет петь Иринушка, несчастная моя доченька. – Старцев повернулся к гостье лицом и продолжал шепотом: – Все еще дикая сила в буране. Мы рады с Иринушкой, что из-за его дикости к нашим воротам своротили. Не часты у меня гости. Ох как не часты, Ксения Захаровна!

### 3

Вторые сутки не успокаивался буран, подвывал за окнами заимки.

Поздний вечерний час застал Старцева и Ксению в рабочей горнице хозяина. Увешаны ее стены старинным башкирским оружием, рогами диких коз и сохатых. На подвесных полках – чучела косачей и рябчиков. На полу, промытом с дресвой до белизны, медвежьи шкуры.

Ксения сидела на диване, укрытом рысьим мехом, поджав под себя ноги.

На столе в высоком подсвечнике горела свеча. У ее огня нет силы, чтобы осветить простор горницы. Ксении видна лишь пузатая печь, обложенная плитками малахита. Искусно подобранный узор камня похож на вспененные синевато-зеленые потоки воды.

Старцев, заложив руки назад, ходил по горнице. Широкая тень скользила за ним по полу, на секунды напозла на печь, скрывала от Ксении яркость причудливых каменных разводов. На Старцеве черная суконная рубаха с расстегнутым воротом. Бархатные шаровары вправлены в голенища оленьих бурок. Голос у Старцева глухой. Говорил он медленно, будто прислушивался к сказанным словам, будто проверял их звучание:

– Не зряшны, Ксения Захаровна, мои речи. Пора вам начинать думать, как место матери заступить. Страшновато вам про такое думать, но все одно, пора подошла. Не только в нашем крае, а по всей империи годы проходят крученые. Промеж дворян и промеж купцов нет согла-

сия. Каждый норовит в свою сторону тянуть. Того и гляди по миру пустят... Да и копится желчь в народе – обозлен мызганьем жизни пуще голодного волка. О-о-ох, и хмур... Вот и пора вам начинать думать про то, в какое время заступать место матери придется.

– Матушка пока мне не велит об этом думать. Сама за всем смотрит и со всем управляется.

– Это понятно. Молодость вашу бережет. Хорошо знает, как свою молодость в старость обрядила. Она сюда в лихое время пришла... Помню, как впервые повидал вашу матушку, Василису Мокеевну.

Старцев торопливо перекрестился.

– Удалая походка была у нее. Пригоршни на весу держать умела. Знаю, что с самого почина жизни Мокеевны подле золота оно из ее рук, вымытое, в обрат не просыпалось в пески. Довелось поглядеть, как пестовала она свои промыслы. До дна докапывалась в песках. Не рвала с них богатства кое-как, только сверху. И вот сделалась миллионщицей, как Лев Расторгуев, стала в крае первой бабой золотоискательницей, не нося за пазухой страха. Не моргнув, вошла в круг шальной, грубой мужицкой погони за наживой. В народе про вашу матушку тоже всякое можно услышать. – Старцев кашлянул. – Молва здесь у каждой бабы цветаста. О каждом из нас молва бродит. Знают о Василисе Карнауховой по всему Камню, что молодухой, шаря золото, могла постоять за себя. Она иной раз таких мужиков пинала... Нелегко Мокеевна складывала кирпичины уральского житья. По самым глухим и скользким тропкам хаживала, по коим даже зверье побаивалось ходить. Вот кого вам придется скоро заступать. Пора усадить старуху в кресло, а вместо нее начать править вожжами карнауховской тройки. Мне на своем веку довелось всяких наследников повидать, но мало было среди них достойных своих родителей. Расторгуевских дочек сами знаете. Какие дюжие росли. Кровь с молоком в них переливалась, а как померли родители, дочери в перинах отечным жиром заплыли.

– Вот и я такой буду.

– Не положено вам быть такой. Не слепой Старцев. Вижу, что есть в вашей походке намек на матушкину поступь. Смелости только мало. А ведь была она у вас, да, видно, от столичной жизни поутратилась. Но это поправимо. Вы себе муженька простецкого, с крепкими кулаками отыщите, да с такой же смекалкой, как... у Тихона Зырина.

– Совсем меня за эти дни перепугали рассказами. Слышала, что народ на Камне до гробовой доски с ненавистью ко всем, кто прежде всего с плеткой к нему подходит. Мамаша мне о многом говорила. Сама я была свидетельницей, как Григория Зотова строгановский розыск оторвал с крепостного заgrimка. Это нам всем и урок – с народом надобно, как с детьми... Не все кнут да хомут, надобно и пряником. Мамаша верно говорит: что ладно, то ладно, а что ладнее, то еще прибыльнее. А Зотовы нам могут всю обедню портить – одно беспокойство.

– Вон вы какие речи молвите, Ксения Захаровна! Есть тут и ваша правда. Напрямки и медведь лезет. Весь край на силе держится. Вот и помощники Гришки Зотова, приказчики его, не все ухайдаканы...

– Кто же из них еще живой?

– Хрустов Михайло. Слыхивали про такого?

– Нет.

– Более десятка лет он в наших лесах скрадывается. Но и до него дотянут. Дойдет очередь и до него. Гришку Зотова граф Строганов с ног сшиб, но не успели его на Камне позабыть, как среди нас новый такой же объявился. Барин.

– Муромцев?

– Он самый. Он такое выкомаривает, что Зотову даже не снилось.

– Но правда ли это? Иногда у нас лишнее болтают.

– Бывает. А все же про Седого Гусара всякое слово истинное. Мы про него еще не все знаем. Но он пострашнее многих из нас. Муромцев собирается медь отнимать у всех. У вашей матушки она по жирности самая лучшая. У меня ее ведомо-неведомо.

– Но медная руда есть также у Харитоновой, у Сухозанета. Она почти на всех заводских и приисковых землях. Неужели у всех станет ее отнимать?

– У всех, мыслит.

– Это правда?

– Побасенками не балуюсь.

Ксения встала с дивана. Подошла к печи. Приложила ладони к ее малахитовым теплым плиткам.

– Вижу, вас встревожили замыслы Муромцева?

– Встревожили, – не оборачиваясь, отозвалась Ксения.

– В столице у него много покровителей. Они, конечно, помогут ему. У сановников под мундиром сердце тоже не каменное – кто же уступит, на золото глядячи? У вас, Ксения Захаровна, в столице больше, чем у нас, протоптанных дорожек. Вам надо туда катить и не давать ходу Муромцеву. Женщине легче на самых уросливых мужиков уздечку надевать. Чего в Екатеринбурге киснете? От сплетен можно одуреть. Матушка на вас не без умысла дворянскую ротонду сшила. Чуяла, что станете ей опорой.

Ксения резко обернулась и застыла у печи, скрестив руки.

– Прошу прощения, ежели мои слова не совсем по сердцу. Грешно такой женщине руками жар-птицу не поймать.

– Обжечься можно.

– На ожог подуть можно.

– Силы у меня может не хватить.

– А на чем тяжелом силушку свою пробовали? Со скуки приучили себя к таким мыслям. – Старцев приложил руки к своей груди и вкрадчиво продолжал: – Вы, Ксения Захаровна, понять должны. Нельзя Муромцева на медь пускать. С медью отнимет он у всех работную силу. С попами раскол из лесов выжжет и выгонит. За себя не боюсь. Я – Старцев, женщиной себя заслонять не стану, а вот вас с матушкой, пока время есть, советом заслонить собираюсь. Буран заставил вас, по совету ямщика, к моим воротам свернуть.

– Неправда. Заехала к вам намеренно. Могла к любому дому в селе свернуть. Заехала, чтобы своими глазами на вас посмотреть. И понимаю, что не зря заехала. Старцевых на Урале нечасто встретишь. После нашего разговора начинаю по-другому понимать. Но вы что-то недоговариваете. Высказывайте про все сразу. Обучайте уму-разуму. – Ксения немного помолчала и произнесла задумчиво: – Может, и впрямь надо мне в столицу податься. Правду сказали, что начала прокисать. Сказывайте, про что надумали.

– Скажу, а вы запоминайте. Слыхали, чать, про меня изрядно?

– Слыхала, а теперь увидела. Поняла, что умный вы да и вроде бы монашескую рясу на себя про запас не надеваете.

– С понятием разговор ведете.

– При одной свечке, видать, с трудом распознаете?

– Дремлете по-кошачьи, а в норе мышь чуете? Прежде глядел на вас и зачинал думать, что вы, на манер наших купчих, с тоски не знаете, о который косяк головой стукаться. Другое думал раньше о вас, повидав с Плеткиным.

Ксения от последних слов насторожилась. Прижала спину к теплу печи.

– От встречных на пути за столбы не прячусь.

– От таких, как Плеткин, бабам надо в сторону сворачивать. Опоганить может.

Ксения оттолкнулась от печи. Прошла до того угла, где шаркал маятник часов, приблизилась к столу со свечой, остановилась, заслонив свет, разом метнулась от нее тень на пол, вытянулась и слилась с темнотой на ковре возле дивана, на который присел Старцев.

– Правду хочу сказать вам про себя, Ксения Захаровна. Проклятый я человек. Всякой мерзости шибко много расплодил в себе. Для людей под старость стал вроде чудища. Из-за страха меня в покое оставляют. Верят, что нечистая сила оберегает меня от людского мщения. Мне неплохо оттого, что люди чепухе верят. У меня по сей причине на Урале угодий прорва. Все леса про Старцева шумят. Мои следы на всем Поясе от Конжаковского Камня до обоих Таганаев. Уж какой всеильный в крае генерал Глинка, а и он меня побаивается. Бойтся, чтобы не смахнул с него генеральский картуз. Не бойтся меня только ваша матушка, потому после смерти Луки Лобанова головы не шевелит на мои низкие поклоны. Зависть и жадность округ страшным человеком меня вырастили. Моя главная сила и защита от всего – раскол. Кержакам я не сделал большого добра. Но не пробуйте сказать им про меня худое слово. Ничему не поверят, а вас предадут анафеме, со света сживут. Вот каков Тимофей Старцев! Матушке вашей при случае скажите про мое слово. Она знает, что оно у меня крепкое. Начнет Гусар медь на наших угодьях отнимать, я для обережения ее раскол на ноги подниму во весь его рост, по всему Камню. Вот какая у меня сила!

Замолчал Старцев и долго ходил по горнице. Потом снова заговорил:

– С вами, Ксения Захаровна, решил поговорить о самом дорогом мне человеке. Есть у меня, проклятого, такой человек. Дочь Ирина. Просить хочу вас, что ежели сгину в драке с Муромцевым, если сомнет меня, то примите в свои руки материнскую заботу об Иринушке. Не сходя с места, слово дайте, что приласкаете ее, когда я ноги протяну в остатний час. С поклоном прошу вас о том.

Не успела Ксения ответить Старцеву, как он тяжело опустился в кресло и закрыл лицо руками.

Ксения стояла растерянная. Похолодела от слов неожиданно пришедшей Ирины:

– Просьбы батюшки не пугайтесь.

Ксения подошла к Ирине, обняла ее, прижала к себе, не отводя взгляда от Старцева. Слышала шепот Ирины:

– От слез у него на душе отляжет. Болит у него душа. От всего болит. Есть она в нем. Найти ее под конец жизни не может, а я ничем не могу ему пособить. Второй раз в жизни плачет. Первый раз плакал, когда ноги мне поленом отшиб...

## Глава пятая

### 1

На земле Южного Урала в стороне от Сысертского завода находилась нерушимая вековечность лесной глухомани, изгорбаченная горными увалами. Лесины в ней тягались ростом. Лиственнь и обомшелые ели были выше сосен. Даже от легкого ветерка поскрипывали лесины, притомившись от старости считать годы. Но старость лесин не умаяла их могучести, не разучились они, размахивая ветвями, выводить шумовые напевы.

Бойкая горная речушка прокладывала себе путь по буреломам и завалам. Как слепой щенок, тыкалась она в выступы скал. Журчала, бурлила, шарахалась в сторону, забегала в чащобы, находила места поровнее на днищах оврагов. Столетия бежала безымянная речка, и только пятый год приисковый народ звал ее Василисин Погляд, после того как хозяйкой золотосных песчаных берегов речки утвердилась Василиса Карнаухова.

Завалили глухомань снега. Метели накидали по приискам сугробы, похожие на замерзшие волны с пенистыми гребнями. Сгрудились они у избы сторожки караульного деда Фотия.

Фотий давний житель на речке. Лет тридцать назад без седины в бороде притопал он в глухомань, убежав от барина из поместья Пензенской губернии, замыслив свою вольную жизнь подле уральского золота. Невзначай набрел в лесах на эту речку. Она понравилась ему водяной бойкостью. Отыскал тут золотишко и не ушел с ее берегов. Перебивал пески не торопясь, находил в них счастье на потребность жизни. Разбогатеть не разбогател, но и с голодухи не помер, а главное, был доволен, что никто в лесной заповедности не изловил его, никто сызнава не приписал душу к заводу или руднику.

Так он и жил тридцать долгих лет, пока не обнаружила его стариковскую жизнь Василиса Карнаухова, откупив под прииски речку с глухоманью. Найдя Фотия, она на старость его не позарилась, из избы не согнала, и он остался караульным чужого добра.

### 2

Январским вечером морозная темень надвигавшейся ночи вдруг порвалась, и на небо, над лесами глухомани, выполз золотой молодой месяц.

По плохо знаткой санной дороге, пересеченной холстинами метельных наметов, шагали гуськом четыре бабы. Впереди шла, прихрамывая, коренастая старуха Марковна, за ней следом богатырского роста, дородная телом молодуха Маремьяна, за ней Анфиса, обликом под стать Маремьяне, а последней шла девушка-сиротка Манька, беспрестанно покашливая.

Появление месяца сразу заметила Марковна и сказала:

– Смотрите, бабоньки, какой рогастый уродился.

– И то верно, первый в новом году. Погадать бы под его пригожесть, – сказала Анфиса. – Десятый день плуваем по лесам – и все как бы зря.

– Молчи! – оборвала ее слова Марковна. – Коли порешили дело изладить, стало быть, надо изладить. Кыштымские бабы нам доверили свершить мирской суд над Мишкой Хрустовым. Небось другое пела, когда в его лапах корчилась. Забыла?

– Да я, бабушка, только к тому сказала, что новый годок в плутаниях проморгали, – оправдывалась Анфиса.

– Молчи, говорю. Новый год... Ишь ты! А чем новым он для тебя обернется? Разве опять какому хозяйскому приказчику приглянешься и он тебя к себе в постель за патлы поволокет.

Новый год что старый – для нас с тобой одинаков. Звание наше простецкое, и радости нам любое гадание под месяц немного добавит. Сколько я новых годков перевидала, а новенького от них ничего не нажила. С виду ты будто вовсе не дура, Анфиса. Баба уж, а все, как девка, в себе носишь мыслишку про гадание.

– Баушка, – окликнула старуху Маремьяна.

– Зачем понадобилась?

– Хочу порассказать, какой сказ про Новый год девчонкой слыхала. Старые люди сказывали, будто приходит он на землю обязательно в обличии босоногого парнишки.

– Ишь ты. Без лаптей, стало быть, с неба сходит?

– И дескать, по его следикам можно распознать, какой он для рабочего люда обернется.

– И я про такое слыхивала. Только за долгую жизнь поняла, что работному люду не больно досуг его шажки на сугробах распознавать. Сама знаешь, какие шажки у новорожденного парнишки, о землю он больше всего задницей стучается, а потому и не больно легко разглядеть его шажки осередь волчьих и заячьих следов. Ошибку можно дать и по волчьим следам себе волчью судьбу нагадать. Вот так. Верь мне на слово, что и в этом году на Камне не сыщется человека богатырской силы, чтобы одним махом пришибить живучесть барской трудовой каторги.

В морозной тишине шаги идущих почуяли собаки лесной деревушки и залились лаем. Марковна остановилась, прислушалась:

– Разбрехались. К Моховке мы подошли. Разумею, что ее нам надо обойти стороной по оврагу.

– В ней, стало быть, не станем его шукать? – спросила Маремьяна.

– Не станем. Понимать должна, что Хрустову в ней себе укромности не найти. Кержацкая деревня.

– Ну и что? – снова спросила Маремьяна. – Обязательно надо зайти в Моховку. От лишнего погляда не ослепнем.

– Не тебе меня, старуху, разуму обучать. Сказала, Моховку обойдем по оврагу, стало быть, так и будет.

– А куда пойдём по нему?

– Закудыкала. Ума в тебе, Маремьяна, столько же, сколько в моей пятке.

– Оврагом-то, поди, в глухомань залезем, а из нее в Сысерть экий крюк придется дать. Я глухомань знаю. Места здесь дремучие, да волков тьма-тьмушая. Не заплутать бы.

– В глухомань и пойдём, Маня.

– По моим понятиям, Хрустов обязательно в Сысерть ушел, – сказала Манька, пересиливая приступ удушливого кашля.

– Не спорь со мной. Порешила я, бабоньки, в глухомани зайти на карнауховский прииск.

– Вот все страшнущее надумала. Да на нем сейчас только волки! – испуганно молвила Анфиса.

– А дед Фотий куда девался?

– Кто такой?

– Вот тебе и кто? Караульный. Старичок. Правильный человек. Поняла?

Остановившись, бабы сгрудились около Марковны. Головы у всех укутаны в шали, и видны только одни глаза. Шали от дыхания в пуху инея. На всех бабах немудрая, но теплая овчинная одежда, туго стянутая холщовыми опоясками, а за опояском у каждой заткнуто по топору.

Собачий лай в деревушке не стихал.

– Ишь как наши шажки растревожили их.

Манька, кашляя, временами совсем задышалась.

– Ох, Манютка, и кудахчешь ты седни. Говорила тебе не ходить с нами по такой стуже. В такую тишь кашель твой за версту слышен.

– А я виновата, что ли?

– Не виновата. Матушка твоя грудку тебе слабую народила. Айдаге. – Марковна круто свернула с дороги в сторону и зашагала по гребнистому сугробу. Крепкий наст под ее ногами похрустывал, но не проламывался.

– Легко топтать-то. Будто в барском доме по паркету.

– А вот я обязательно стану проваливаться. Тяжести во мне многонько, – посмеиваясь, сказала Маремьяна.

Некоторое время шли молча.

– Баушка, – окрикнула старуху Маремьяна.

– Ась? – ответила Марковна из темноты.

– А снежок-то меня держит. Только от натуги покряхтывает.

– Вот и хорошо. Эдак живенько до Фотия дойдем, а у него и заночуем...

### 3

В избе Фотия часы-ходики проворно отстукивали минуты, ведя стрелки по кругу девятого вечернего часа. На треснувшей дощечке часов нарисованы пунцовые маки. В печурке на рукавицах уместился, свернувшись в калачик, пушистый кот. На полу, возле дров у печи, лежал, наострив уши, огромный черный пес. В тишину избы проникал унылый волчий вой.

Топилась печь. Поленья в ее зеве горели весело, но были не очень сухими, а потому сгорали шипя и чихая. Поодаль, у рукомойника, коротал зиму петух с пятью курицами и, видя в тепле птичьи сны, бормотал сквозь дрему. Отсвет пламени из печи отгонял в углы темноту просторной избы. Она опрятна. На полу расстелена шкура сохатого, а поверх ее от двери к столу постлан залатанный чистый половик. Вокруг косяков двух окон – веера из хвостов глухарей, косачей и рябчиков.

На столе чайник с чашками. Ломти нарезанного хлеба от ржаного каравая. Глиняная миска с кусками сотового меда.

Около окна за столом сидел Фотий, с виду совсем тщедушный старичок. Его реденькая бородка сильно подкрашена желтизной. Длинные пряди седых волос расчесаны на прямой ряд, а чтобы не спадали на глаза, охвачены обручем тонкого ремешка, на лбу он скатался и похож на глубокую морщину. На Фотии холщовая рубаха до колен с цветными заплатами на локтях, а пестрядинные штаны вправлены в валенки.

Напротив Фотия сидел рыжий, буролицый, могучий мужик. На его щеках, носу лупилась померзлая кожа. На мужике топорщилась красная суконная рубаха, обшитая по вороту черной бархатной тесьмой. Штаны из козлиного меха. На ногах серые валенки, подшитые кожей. Мужик пришел к старику из леса, загнанный бураном. Он назвался Феофилом Тарасовичем Хорьковым. Жил он у старика с кануна Нового года, счастливо избежал смерти, вовремя разглядев в глухомани свет в окнах избышки.

Чаевничать они сели в начале восьмого часа и разговорились про разное жите приискowego люда.

– Как ни верчу, как ни прикидываю разумом, Тарасыч, а все ладнее понимаю, что вовсе не на радость народу сыскал на Поясу золотишко Ерофей Марков. От его сыска много беспокойства развелось. Охочи мы больно до всякого богатства. Прем на легкую наживу. Копнем, дескать, разок-другой песочек лопаткой и выгребем богатство, а на самом деле вовсе не так выходит. Мочалим, мочалим в работе силенку, а все с голым задом по миру шеголяем. Счастье-то, оно для всех лютее. Фарт на золоте человечьей судьбой верховодит.

Сладко зевнув, Фотий примолк. Обернулся к печке. Встал и, подойдя к ней, клюкой пошевелил горящие дрова, отчего они вспыхнули, затрещав, рассыпали пучки искр.

Прислушиваясь к волчьему вою, мужик сказал:

– Зверье, видать, близехонько до твоего жила подходит?

– Иной разок под самыми окошками зелеными шарами зырят на мою жизнь. – Фотий вернулся к столу и сел на прежнее место. – Волчье пристанище от меня близехонько. Напрямик версты три. В Завальном логу их видимо-невидимо. Свадьбы там правят. Ноне им голодно. Снега пали глубокие... Давай допивай. Я тебе свежего подолью, а то водица зря стынет.

Мужик большими глотками выпил содержимое чашки и, протянув ее Фотию, сказал:

– Налей. Медок у тебя больно душистый.

– В округе цвету разного много, вот и душистый. Дикий мед завсегда духовитее пасечного.

Фотий налил в чашку кипятку с наваром малиновых и брусничных листьев.

– Чаек у тебя самый уральский.

– Другого не завожу. От брусничного листа сердечная тревога утихомиривается. Сам видишь, одиноко живу. Дружки со мной не больно речистые: петух с курицами, котовой-лежебока да пес Сучок. С весны округ меня перебуд настанет. Закопшатся люди. И зачнет для меня от них всякая докука. Хлопотно мне на старости с приисковым людом.

– А мне, хозяин, одиночество в лесу не по нутру. К людям меня тянет. Песни люблю.

– А кто их не любит? – подмигнул Фотий. – Песня для разума человека, что деготь для колеса. Без песни у людей в душе скрип начинается. Старательствуешь поди?

– Водится за мной такой грешок. Давненько по приискам мыкаюсь, а польза от этого только хозяевам.

– Стало быть, с зимы на новые места перебираешься? Зимой хорошо бродить, потому метелица след замечает.

Мужик, нахмурившись, посмотрел на Фотия:

– Велишь понимать, что про метелицу не напрасно завел речь? Коли чего тебе во мне не поглянулось, ты лучше в лоб спроси. Аль приустал сказы бывалых людей про жизнь слушать?

– Про лишнее у людей не спрашиваю. Иной раз и без спросу распознаю, что к чему.

У печи стукнул лапами пес, поднялся, подошел к столу, зевнул, широко раскрыв пасть с большими острыми клыками, и улегся у ног хозяина. Мужик опасливо покосился на собаку:

– Ну и зверь! Прииск-то Карнаучихин?

– Ейный. Слышал про мою хозяйку?

– Видал даже. Баба с головой. Только состарилась.

– Да, маленько уходилась. Моя хозяйка – дельная женщина. Зубов на рабочий люд позряшному не скалит. Дочку вырастила себе на подмогу.

– Дочку тоже видал, когда в Кыштым с Машкой Харитоновой наезжала. Сама Карнаучиха с Расторгуевым не больно ладила. Не глянулось ему, что баба возле него на миасских песках в богатеи вышагала.

– А ты, слышу, про многое нашинское по-дельному знаешь? – удивился Фотий.

– Знаю. При зверюге Зотове Гришке главным кучером состоял.

– Да быть того не может.

– Право слово.

– К золоту, стало быть, с Гришкиного облучка прыгнул?

– Спрыгнешь, ежели жить захочется. Богатым надумал стать.

– Об этом каждый думает.

– Убежал я от Зотова.

– А по какой причине?

– Была такая. Вез его одинова с пьянки. Крепко он в тот раз хмелю набрался. Тряхнуло его на ухабе, а он, разозлясь, меня по морде кулаком звякнул. Я не стерпел. Сам его в обрат по зубам саданул. Понимай, на кого руку поднял. Ох, и бил я его тогда, пьяного! Прямо до бесчувствия измолотил. Опосля разогнал коней, сам с облучка на землю пал и – в лес. Наде-ялся, что кони насмерть его зашибут. Расшибить его расшибли они, да только живуч оказался. Искал меня Зотов по всему Камню.

– Не нашел?

– Нету. В саткинских скитах у кержаков скрадывался. Не выдали кержаки. Потому Гришка Зотов сам кержак, но парил их плетями здорово.

Мужик отломил кусок хлеба и, обмакнув его в миску с медом, затолкал в рот, смачно зажевал.

– В Сибирь подаюсь, – пробурчал он.

– Это зря. Зачем наши леса на сибирскую тайгу менять?

– Покой для себя ищу.

– Раненько тебя к нему потянуло.

– Не больно стар, но все одно притомился. Пески здесь не напрасно перегребал, нашел толику золота.

– Вот про это мне ведомо.

– Как узнал? – мужик перестал жевать.

– Да так. Котомку твою оглядел в ту ночь, как пришел ко мне помороженный. Ножик в ней искал. Понимай. Старичок, а помирать от чужого ножика неохота. Шарился в твоей котомке, да и дошарился до мешочка с золотом. В нем, поди, фунтиков пятнадцать. Сам его намыл?

– Наполовину сам, – недовольно признался мужик.

– А остальным у кого разжился?

– От хозяйского в конторе отсыпал.

– А с тем, кто его охранял, что сотворил?

– Живой он. Поровну разделили с ним хозяйское добро. Тот мужик тоже в Сибирь подался. Чудной ты, хозяин. Золотишко мое нашел, а меня не пристукнул.

– Да на что мне твоя жизнь? От своей малость успел притомиться. Живи. У кого остатний год робил?

– У Седого Гусара на Старом заводе за барским домом присматривал.

– Скажи на милость! – покачал головой Фотий.

– Знаешь Муромцева?

– Знать не знаю, но слыхивать про него доводилось. В Сибирь, конечно, ступай. Держать тебя не стану. Но лучше всего до весны со мной побудь. Буран тебя ко мне загнал. Твою жизнь за песочек золотой я не отнял. Другой буран может тебя в другую избу загнать, а там твою жизнь возьмут да и проткнут за золото ножиком, как рыбий пузырь. Вот ты и не дойдешь до желанного покоя в Сибири.

– Никак заботиться обо мне начинаешь? Может, задумал на меня начальству донести? – Мужик привстал.

Пес поднял голову.

– Чудной ты. Староват на такую окаянность. Хочу, чтобы правильной тропой до сибирского покоя добрался. Боишься со мной до весны остаться?

– Боюсь: золотой песок нелегко достался.

– Половина, может, и нелегко, а другая часть легче плевка досталась. Вороватость, как смола, прилипает к человеку. Раз чужое сопрешь, обязательно вдругорядь потянет.

Фотий выпрямился и, смотря в упор на мужика, сказал:

– Волк в тебе зубастый живет. Вижу его в тебе. Знаю, кто ты есть. Видал тебя в Кыштыме. Что кучером у Зотова состоял – это правильно. Только имечко у тебя тогда другое было, а в народе тебя не по-доброму прозвали.

– Чего мелешь?

– Позабыл? Кличет тебя народ в наших местах Обушкой. Вспомнул? Пошто тебя так кличут? Помогал ты Зотову людей тиранить. Непокорных ты насмерть зашибал обухом топора. По темечку бил. Вот кто ты.

Мужик попытался встать. Фотий прикрикнул на него:

– Сиди безо всякого движения. До конца о себе дослушай. От Зотова ты убежал не от его гнева, а от гнева людского. Гонял тебя этот гнев по лесам более десяти лет. Он тебя и от Седого Гусара прогнал. Он тебя и по Сибири будет гонять. От него нигде не укроешься. От моей правды у тебя даже лоб бисерным потом покрылся. Чуешь теперь, какой дошлый старикашка в глухомани сыскался.

– Все, стало быть, про меня знаешь?

– Как не знать. В лесу живу, шум лесин слушать умею, а они про все голоса. Так-то, Михайло.

При упоминании своего имени мужик вздрогнул.

– Имечка, при крещении обретенного, не пужайся. Матушка, родив тебя, не думала, что ты таким обернешься на белом свете. Зверь в тебе, Михайло. Приметил, что мой Сучок на тебя зубы скалит. Чует собака в тебе зверя. Людей легче обмануть, а пса не обманешь. Потому в Уральском краю в наше время в собачьей душе больше человеческого, чем в людях, кои вожгаются над золотом.

Собака вскочила на ноги и заворчала, обнажив клыки. Фотий, взглянув на нее, смолк.

– Почуяла кого-то? – испугался мужик.

Фотий, не ответив, подошел к окну и долго прислушивался. Мужик облегченно вздохнул.

– Нету. Померещилось мне. А все оттого, что больно ходко разговорились.

Фотий медленно обернулся:

– А ты гляди на собаку. Шерсть на загривке дыбит. Слушает.

Под окнами раздался удушливый кашель. Мужик вздрогнул. В окошко негромко, но мелко застучали. Мужик шепнул старику:

– Не отпирай.

– Что ты, Михайло. Как можно такое сотворить? В зимнюю пору нельзя в глухомани перед живой душой держать дверь на запоре.

– Не смей отмыкать дверь!

Стук в окошко повторился, и кто-то нараспев сказал:

– Дедуся Фотий, пусти пообогреться.

– Вот видишь. Баба заплуталась.

– Не отпирай дверь!

Фотий пошел к двери, но Михайло успел схватить его за руку.

– Задушу!

Фотий, вырвав руку, быстро метнулся к двери и скинул на ней крючок. Михайло выхватил из валенка нож, шагнул к Фотию, но остановился и попятился: на него шел Сучок, ощерясь и зло подвывая, словно волк. В открывшуюся дверь в клубах морозного пара вошла Маремьяна. Мужик, увидев ее, отошел к печке. Пес залаял. Фотий прикрикнул на него. В избе появились Марковна, Анфиса и Манька, постучали о порог валенками, обивая снег.

– Милости прошу, бабоньки.

Бабы не торопясь развязали шали и платки. Марковна подошла к столу, перекрестилась на образ. Обернулась и поклонилась Фотию в пояс:

– Не признал меня, дедушка Фотий?

– И то не признал... Батюшки светы, да ты Марковна Гусева. Прости старика. Сама видишь, в избе не райский свет.

Марковна, показывая на баб рукой, назвала старику их имена.

– В Сысерть путь держим. Думали, на перепутке у тебя заночевать, да, видно, придется без сна ее скоротать.

– Совсем одурел старый, – засуетился Фотий, – про гостя своего позабыл.

– Знаком он нам, дедушка. Не хоронись за печь, Мишка Хрустов. Аль неохота на Маремьяну взглянуть? Ты, дедушка, присядь на лавку, дозволю нам с ним по душам потолковать.

Фотий растерянно кивнул головой и сел на лавку.

– Начинай беседу, Марковна, – сказала Маремьяна строго. – Манька, зажги свечной огарок.

Манька закашлялась и, порывшись в кармане, достала огарок восковой свечи. Маремьяна зажгла его от огонька лампадки. Прилепила огарок к столешнице. Михайло Хрустов ясно обозначился возле печи. Он шагнул в сторону. Пламя из печи полосой упало на его руку, в которой блеснуло лезвие ножа.

Марковна из носика чайника отпила несколько глотков и, прищурившись, сказала:

– Разговор с тобой, душегуб, будет короток. Пришли за твоей жизнью. Матери сыновей, тобой погубленных, бабы и девки, честь коих предал надруганию, велели нам порешить тебя на земле безо всякого остатку. За сынка своего Костеньку, утопленного тобой в кыштымском пруду, десять лет тебя искала. Анфиса в том мне тоже помогала. Ребеночка ты у ней своровал да продал Седому Гусару. Маремьяна про то дозналась. Она отыскала твой след. Ноне третью неделю за тобой гоняемся. С того самого дня, когда на Старом заводе, убив господского приказчика, ты с золотом в леса бежал. В новогодний канун настигли тебя в Снегиревке, но, почувяв свою смерть, ты от нас ушел. Теперь не уйдешь.

Маремьяна, не спускавшая глаз с Хрустова, заметила, как он посматривает на окна, и неожиданно кинулась к нему, ударом кулака сшибла его с ног, закричала:

– Вяжи его, Анфиса!

Удар по голове оглушил Хрустова, и он, как куль, лежал на полу. Анфиса, распоясавшись, связала руки Хрустова.

– Манька, сволакивай с него валенки.

Девушка проворно стащила с ног Хрустова валенки, и только тогда, скрипнув зубами, он подал признак жизни. Приподнял голову над полом. Собака залаяла. Переполошились куры. И только кот продолжал спать в печурке.

– По-ладному ты его окрестила, – одобрила Анфиса.

– Она на это мастерица. Рука у нее мельенная, потому ни один мельен пудов песков лопатой перекидала, – сказала Марковна.

Хрустов встал на колени:

– Не убивайте меня, бабы!.. Помилуйте окаянного... Золото возьмите из котомки. Не убивайте, родимые!

Маремьяна раскатисто засмеялась, а от ее смеха по спине Фотия забегали мурашки.

– Убивать тебя не станем. Пальцем больше тебя не тронем. Мы только нагишом станем гонять тебя по морозу, пока в ледышку не обернешься.

Хрустов завыл не своим голосом:

– Не убивайте, бабоньки! Не по своей воле душегубничал. Зотов велел убивать. Подневольным был при нем.

– Будет лясы точить с душегубом! – решительно сказала Марковна. – Выволакивайте его на волю.

Бабы торопливо повязали платками и шалями головы.

– Готовы, что ли? – спросила Маремьяна.

Не дождавшись ответа, схватила Хрустова за ворот и поволокла по избе к двери. Хрустов кричал, болтал босыми ногами. Манька распахнула дверь. Маремьяна выволокла мужика на мороз. Крики Хрустова теперь были слышны на воле. Марковна поклонилась Фотию и сказала:

– Не серчай на нас за такое. Людской суд творим. Расторгуевские бабы вырешили: всех, кто людей наших губил, со свету убрать. Прощай! Про то, что повидал, лучше позабудь. Прощай!

Марковна вышла, плотно прикрыв дверь. Оставшись один, Фотий пустым взглядом окинул избу. Заметил на полу смятый половик. Торопливо встал с лавки и поправил его. На столе погасил огарок свечи, отлепил его от столешницы и, не зная, что с ним делать, долго мял в руке. Вздрогнул, когда Сучок вылез из угла и залаял, прижавшись к ногам хозяина. Старик погладил собаку, смекнув, отчего она волнуется. Фотий поднял серый валенок, нашел другой возле окна, быстро сунул их в печь на горячие угли. Валенки сразу занялись пламенем, и в избе запахло паленой шерстью. Фотий медленно опустился на лавку, но, вспомнив о чем-то, встал. Надел полушубок, достал из котомки Хрустова мешочек с золотом. Взял около рукомоиника топор и вышел из избы в сопровождении собаки.

В лесной глухомани было тихо. Ее тишину нарушал только едва слышный отзвук волчьего воя. На небе горели яркие зимние звезды. Топором продолбил лед в проруби, высыпал в воду из мешочка золото. Отошел от проруби и втоптал в сугроб пустой холщовый мешочек. Спешно вернулся к избе, потом без мыслей постоял, прислушиваясь к тишине. Услышав лай собаки, покачал головой:

– Эх, дурная животино, по эдакому морозу вздумала гоняться за зайчишками.

Фотий вступил в избу, поставил на место топор, зачерпнул ковшиком из кадушки воды и жадно выпил. У двери заскулил пес. Старик, впустив его, запер дверь на крючок и перекрестился...

#### 4

Снега под ярким солнцем искрились голубыми и алыми вспышками. От каждого кустика, от всякой лесины стлались узорчатые тени, схожие с паутиной. Исчерчены ими сугробы вдоль и поперек.

Тихий мороз. Гомонят синицы и чечетки. В чаще лиственниц пересвистываются рябчики...

Савватий вошел в глухомань, когда восход только начинал лудить вершины леса. Шел не спеша, под лыжами слегка похрустывал замороженный снежный наст.

Покинув Верх-Нейвинск, он добрался на попутной подводе до Уктуса и направился, как советовал Мефодий, в сторону Сысерти, в деревню Моховку, с надеждой, что в ней у старателя Никона Костыля удастся перезимовать. Но надежда не сбылась. Никона в деревне он сыскал, тот сначала принял его приветливо, но, узнав причину прихода, сразу помрачнел, сообщил, что скит, в котором можно было бы укрыться, прошлой осенью от лесного пожара выгорел. Безопасного убежища у себя в деревне не обещал, ссылаясь на то, что она числится за казной и ее навещает горная стража. Кроме того, жители Моховки – кержаки из секты полушкинцев – недружелюбны к чужакам, нестароверцам, а Савватий вдобавок пришел в Моховку в одежде монаха.

В Моховке Савватий все же скоротал ночь. Никон подал ему мысль искать приют в глухомани, в сторожке у верного человека.

У Савватия не было другого выхода, и он принял совет Никона. На рассвете, когда пришло время трогаться в путь, Никон снабдил Савватия лыжами и рогатиной, а главное, вызвался его проводить. Никон довел Савватия до чуть знатного под снежными наметами русла речки,

настрога наказал от него никуда не сворачивать, уверив, что речка выведет к той надежной избе. Пока шли, Никон предупреждал – в лесной чащобе не зевать, упоминал о волках и о том, что на пути будут попадаться никудышные для хода места.

Савватий перед полуднем осилил дебри завального елового леса. Идти было трудно, но он помнил наказ Никона и не сворачивал от корытца речки. Скоро от усталости пришлось сбавить шаг. Заслышав хруст ломаемых веток, Савватий останавливался, его настораживал неожиданный взлет тяжелых птиц, не то глухарей, не то филинов, досадовал, что за годы в остроге отвык от леса, от его звуков.

Началась чащоба осинника и чахлого березняка, но идти стало легче, наст хорошо держал Савватия. Исчезла лесная темень, всюду раскиданы снопы солнечного света, у Савватия повеселело на душе, невольно вспомнились слова Мефодия, что вольность природы вытеснит из разума все осторожные сомнения. Подумал, что если и теперь его постигнет неудача, то пойдет в другие места, где у него обязательно должны найтись друзья с укромным укрытием до весны...

Стрелка ходиков в избе Фотия миновала второй час пополудни. Фотий возле печки щепал лучину, чтобы растопить печь: подошла квашенка ржанины. Его внимание привлек лай Сучка в лесу. Старик прислушался. Пес не отбегал от избы, видно, лаял на человека.

Старик, накинув на плечи армяк, нахлобучив шапку, вышел на волю, действительно, разглядел невдалеке путника, а тот, увидев Фотия, прибавил шагу.

Фотий прикрикнул на Сучка. Пес смолк.

Старик, шурясь от слепящего солнца, из-под ладони оглядел подошедшего чужака. Стоял он перед ним в овчинном латаном полушубке, надетом поверх монашеского подрясника. Полы его спереди заткнуты за опояску, чтобы не мешали при ходьбе.

– Никак заплутал, человек?

– К деду Фотию шел. Не ты ли им будешь?

Старик снова приставил ладонь ко лбу, оглядел чужака и без приветливости сказал:

– Ежели к Фотию, то – пришел. Шагай за мной. Пса не опасайся.

Сняв лыжи и воткнув их в сугроб, Савватий следом за Фотием вошел в избу, за ним вбежал и пес. Савватий обнажил голову и словно бы хотел перекреститься, но помедлил, Фотий наблюдавший за незнакомцем, строго сказал:

– У меня образа на месте.

– Не углядел разом.

– Видать, на очи слаб?

– Глаза в справности, но от снежного огня под солнцем в них красные шарики мечутся.

– Это пройдет.

– Снять одежду дозволишь?

– Обязательно.

Савватий скинул со спины котомку, снял полушубок. Все сложил на лавку около двери.

– Чего мнешь одежду? Вешай на стену.

Савватий повесил котомку и одежду на колок.

Собака, слыша спокойный голос хозяина, прониклась доверием к чужаку, обнюхав его ноги, полы подрясника, повиляла хвостом и легла возле печки, часто позевывая.

Савватий, отодрав с усов льдинки, намерзшие от дыхания, трижды перекрестился и поклонился в пояс хозяину. Фотий, ответив учтивым поклоном, спросил:

– Отколь же ко мне шел?

– Из Моховки. Послал к тебе Никон Костыль.

– Никон мужик правильный. Ты ему кем приходишься?

– Да вроде, как и тебе, – чужаком.

– Чудеса. Не возмев к тебе доверия, Костыль тебя ко мне дослал. Никак темнишь истину, человеце? А ведь ты инок.

– Сущую правду сказываю.

Фотий, прищелкнув языком, уставился на чужака, заложил руки за спину и спросил:

– Какой краски волос в бороде Никона?

– Смоленый, но шибко припачкан сединой.

– Облик у бороды какой?

– Схожа с клином, коим бревна раскалывают. – Поняв, что старик чинит ему пристрастный допрос, Савватий сам добавил заметное в облике Никона: – Левая бровь у мужика надвое порушена. На правой руке у большого пальца нет ногтя.

– Тогда выходит, что Никон тебя прислал.

Фотий подобрал с полу лучину, сложил ее под дрова в печке, тоненькую щепань запалил от огонька лампадки и поджег ею лучину. Посмотрел на чужака и, увидев, что он все еще стоит, предложил:

– Садись. Лавок много. Отдохнешь, скажешь, зачем тебе Фотий понадобился. Может, поесть собрать?

– Благодарствую. Соснуть дозволь.

– Ложись.

– Тут можно? – Савватий указал на приступок возле печки.

– Пошто тут. На печь лезь, там медвежья шкура расстелена.

Савватий снял валенки:

– Добрая то речь, что в избе есть печь.

– Спи вдосталь. Будить не стану, почитай себя моим гостем...

Савватий, проснувшись, слез с печки. Не сразу он увидел старика у стола в переднем углу, а тот заговорил без недавней сухости в голосе:

– Неплохо соснул, человеце. Другой раз самовар подогрел.

– Разбудил бы.

– Жалел. Чать, не по большаку шагал, а глухоманью. Ополосни лик. В рукомое вода не студеная, утрось налил. Медок на столе. Лепешки ржаные седнишние. Удались. Самовар парит – садись за стол...

– Чьи угодыя-то будут, кои караулишь? – спросил Савватий, допив первую кружку.

– Карнаучихины. Слышал про такую хозяйку?

– Не помню. Как она к людям?

– По-всякому. В госпожи из нашего сословия вышагала. Все же от господ разнится. Приобыкла глазунью есть, посему курам иной раз и овсеца не жалеет, чтобы на яйца не скупилась. Конечно, живет себе на уме, только скажу, что расположение к работным людям вконец не остудила. Но все одно: сколь волка ни корми, все в лес смотрит. Знамо, жить возле нее людям можно; хомут тот же, а люди робить идут, потому иной раз кашу маслом маслит.

Старик налил гостю вторую кружку:

– Ешь досыта и зачинай сказывать, чего тебе Фотий понадобился.

– Пришел к тебе на постой проситься до вешних дней.

Фотий от удивления даже расплескал из кружки воду на стол.

– Может, скажешь, чего в монастыре сотворил, что пришлось из него ноги убрать? Уж не своровал ли? Понимай, я человек к богу с верностью.

– Я не монах.

– Как так?

– Беглый я.

– Знамо, беглый, ежели у меня сидишь, а не в своей келье.

- Из острога убег.
- Господи Иисусе!
- Вот и прошу укрытия. Потому ловить меня станут все, кому положено.
- Погоди. Дай понять. Пошто же монахом обрядился?
- В эдаком обличье легче оберегаться.

Фотий улыбнулся:

– Пожалуй, и верно. Какой с монаха спрос. Ежели правду говоришь, то не утаивай, за что в остроге сидел?

- Бунтовал с заводскими.
- Из каких мест родом?
- Из Каслей.
- Кем робил?
- По литейному делу.
- Может, имя скажешь? Мое знаешь, а мне твое знать охота.
- Скажу, ежели пообещаешь укрыть у себя.
- Гнать не стану.
- Крышин я. Савватий.

Лицо Фотия мгновенно стало суровым, он стукнул кулаком по столу:

– Ты, человече, из меня на старости лет дурака не строй. Ты чьим именем себя помянул?  
– Своим.  
– Бессовестный! Эдакое вранье перед стариком чинишь? Не знаешь, видать, какой человек Крышин Савватий. Да как ты осмелился его именем заслониться!

- Ты его сам видал?
- Нету! Но доброго про него от людей многонько слышал.
- Никон мне поверил.
- А пошто же укрытие не дал?
- Сгорел скит, в котором можно схорониться.
- От меня Никоновой доверчивости не дождешься. Слушай, что скажу. Савватия Крышина генералы да господа заводчики по всему Северному Уралу ловят. Вон где!  
– Сказывал же тебе, что убег из острога.  
– Из какого?  
– Из верхотурского.  
– Из верхотурского?..

Окончательно растерявшись, Фотий не отрывал глаз от гостя, не зная, чем еще проверить правду его слов, все же попросил:

- Перекрестись!

Савватий выполнил просьбу.

– Господи, да неужели ты и есть тот самый Савватий? Про него что слышал? Будто такой смелый, что покойному царю бумагу с «плачем» в руки отдал.

- Надеялся работному люду защиту найти.
- Ох, человече, у господ воля на эдакое. Вот годок для меня зачался! Ну вовсе недавно Михайлу Хрустова порешили.  
– Зотовского подручного по душегубству?  
– Его самого. Бабы кыштымские всем миром присудили ему смерть.  
– Туда ему и дорога.

– Не успел я одуматься от такого людского суда, как ты объявился. Ну как хошь, но поверить, что правда в твоих словах, мне боязно.

– Окромья честного слова, ничем другим не могу доказать свою правду. Выходит, и ты в приюте откажешь?

Фотий вышел из-за стола, мелкими шажками заходил по избе, видимо, молча разговаривал сам с собой, разводил руками, остановившись перед Савватием, хотел что-то сказать, но не сказал и опять заходил по избе. На лбу старика выступили крупные капли пота.

– Ладно, – бросил Савватий. – Заночую, а поутру уйду.

– Чего мелешь? Куда уйдешь? Да в этом месте тебя ни в жисть не сыщут, а надумают искать, так есть где схорониться. Живи. Ежели соврал, по весне узнаю. Сюда люди со всего Камня сходятся золотишко мыть для Карнаучихи, может, и придет какой работный человек, признает тебя либо за Крышина Савватия, либо за вруна бессовестного. Слово тебе свое сказал и – аминь!

## Глава шестая

### 1

Карнаухова Василиса Мокеевна жила в Екатеринбурге в доме с колоннами, стоявшем при дороге в Шарташскую слободу. Жители города хорошо знали старый демидовский дом, укрывшийся в березовой роще с летней поры тысяча семьсот сорок седьмого года.

Дом выстроил Прокопий Акинфиевич Демидов после кончины отца и поселил в нем свою тагильскую утешительницу Анфису Семеновну, чтобы в его роскоши не горевала, когда отослал от себя, охладев к ее красоте.

Пятнадцать лет прожила в доме Анфиса Семеновна, а в одну глухую ночь по осени задумил ее кто-то из челяди в постели.

Темное дело, как многое демидовское, осталось неразгаданным, вернее, его даже никто и не пробовал разгадывать...

В царствование Екатерины сын Прокопия Демидова в столице проиграл дом в карты князю – офицеру, прославившемуся в сражении под Измаилом, но потерявшему в бою левую руку.

Дом, выигранный князем у Демидова, долго стоял в Екатеринбурге пустым, новый хозяин держал в нем лишь челядь. Князя жаловала вниманием императрица. Он водил дружбу и с наследником престола, в то время узником Гатчины, но, отняв у великого князя внимание его фаворитки – красавицы фрейлины, он потерял расположение наследника. Ненависть великого князя к офицеру была столь велика, что даже не угадала до того дня, когда гатчинский затворник стал для России императором Павлом Первым. Он круто расправился с удачливым соперником, приказав вместе с фрейлиной покинуть столицу и удалиться в Екатеринбург.

По дороге на Каменный пояс фрейлина простудилась и умерла. Сквозь метели и стужу тройка примчала в демидовский дом обезумевшего от горя князя и заочневшее тело его возлюбленной.

По Екатеринбургу прошел слух о совершенно небывалом: князь схоронил любимую женщину под полом своей опочивальни.

Четыре года князь одиноко прожил в доме, никогда не покидая его пределов. В марте тысяча восемьсот первого года, недели через две после смерти Павла Первого, кем-то посланный убийца под видом гостя проник в дом и ударом кинжала прервал жизнь однорукого хозяина. По завещанию покойного дом перешел к его сестре, жившей в Москве, а у нее откупил московский купец Захар Карнаухов, владевший на Урале рудными, мраморными и приисковыми землями.

Захар Карнаухов умер вскоре после изгнания французов из России, и во владение всем состоянием была введена законом его супруга, Василиса Мокеевна.

Девяносто лет стоял дом после своего основания, и караулили его старье, выдавшие виды березы...

### 2

Буранная метель четвертые сутки погуливала по Екатеринбургу. Благовестили в церквах ко всеобщей. Комнаты и залы карнауховского дома в густой мгле январских сумерек. По нижнему этажу шлепали босые ноги девушек-хохотушек, таскавших дрова к печкам и каминам.

Молодая хозяйка Ксения Захаровна поехала в церковь и наказала камердинеру Тарасу Фирсовичу после ужина затопить камин в книжной комнате, ибо ожидала к ужину гостью – Марию Львовну Харитонову.

Верхний этаж дома, отведенный под жилье Ксении и ее брату Кириллу, зимой пустовал. Ксения предпочитала быть около матери, на Урале, а Кирилл жил в Петербурге или за границей.

Проводив молодую хозяйку, Тарас Фирсович надел парадную ливрею синего сукна и уже присмотрел своим глазом, как служанки накрыли к ужину стол. На столе стояло три прибора. К ужину был зван и учитель музыки Фридрих Францевич Шнель. Камердинер знал, что к ужину готовили рябчиков в сметане, а поэтому пошел на кухню разузнать у кухарки Алевтины, как доходит жаркое и все ли она изготовила для гарнира.

Вернувшись из кухни, камердинер прошел в книжную комнату, проверил, как сложены дрова в камине и достаточно ли для растопки надрано бересты. Но и найдя все в порядке, он поворчал на девушек за их веселость.

\* \* \*

Тарас Фирсович Глушков оберегал покой хозяек. Он высокого роста. С пушистыми бакенбардами. Его холеная борода раздваивалась, как ласточкин хвост. Он, не горбятя спины, дошагивал седьмой десяток, хотя частенько вздыхал от усталости. По характеру ворчлив. Ворчал даже на старую хозяйку, на всю дворню, на самого себя и только на Ксению Захаровну не ворчал, ибо, по его понятию, все, сделанное ею, всегда правильно и неоспоримо.

Родом Тарас Глушков с берегов Плещеева озера. Захар Карнаухов выкупил его, тогда совсем еще молодого парня, из крепости от помещика для услужения в доме. Василису Мокеевну он знал с того времени, как хозяин привез ее из-под Киева. При нем она под венец пошла с хозяином, при нем стала миллионщицей. Он все знал про свою хозяйку, кроме тайного, что она сама умела носить в памяти и знала о котором только сама.

Руки Тараса поддерживали старую хозяйку на пройденных тропах, а потому все о ней слышал, что люди за глаза плели. Слушал и запоминал сплетки, об иных докладывал хозяйке. Разное говорили люди про старую хозяйку.

Ее молодость давно канула в Лету, а люди все не унимались, поминая про былое, что грешно жила, что по-тайному приобрела богатство, нарушая из-за него верность мужу. Толком никто ничего не знал, но все равно в городе продолжали вспоминать, что будто видали ее в дыму ночных любовных костров, иба слишком много туманного было в ее жизни, много дыма волочилося за ее подолом, а дым без огня не заводится.

Тарас хорошо помнил, какой была обликом Василиса Мокеевна в молодости. Ни один мужик не проходил мимо нее, не оглянувшись, Василиса Мокеевна знала цену своей женской пригожести. Умела вовремя бровь дугой изогнуть, глаза лукаво сощурить и таким взглядом подарить, от которого у мужиков перехватывало дыхание. С первого дня появления на Урале она заставила людскую молву ходить за собой по пятам. Немало разговоров про Василису Мокеевну было и в столице. Знали там и про ее коллекции золотых самородков и уральских самоцветов.

Хорошо Тарас помнил, как жила несколько дней в доме, отогреваясь от стужи, княгиня Мария Волконская, следуя к мужу в сибирскую ссылку. Комната, в которой она пребывала, стояла теперь в доме запертой. Сам Тарас два раза в неделю вытирал в ней пыль и подметал.

На глазах Тараса состарилась Василиса Карнаухова, и он заметил, как вот уж третий год начала утихать о ней речистость людской молвы, но перекинулась на дочь Ксению, вернувшуюся из столицы в Екатеринбург вдовой...

\* \* \*

В зеленой гостиной куранты с громкой торжественностью вызвонили восьмой час вечера. Их звон ворвался в мелодию бетховенской сонаты, разносившейся из книжной комнаты и будившей тишину дома.

Книжная комната небольшая. Ее мутно освещали свечи в канделябрах на клавесине. За клавесином сидел дряхлый старик, одетый в малиновый фрак. Бывший органист из Гейдельберга Фридрих Францевич Шнель держался прямо, наклонив голову и прикрыв глаза. Его бритое, бледно-желтое морщинистое лицо застыло в упоении. Под его старческими руками оживала вдохновенная мелодия любви, мужественная и сдержанная в выражении страдания и горестного раздумья, неукротимая в разливе чувств.

Дымно топился камин. Сложен он из грубо обтесанных кусков Златоустовского белого мрамора с красными прожилками. Подсвеченные изломы камня загорались золотыми, синими и красными искрами. На камине две фарфоровые вазы, на них рукой неведомого живописца выведены сказочные птицы.

Вдоль стен комнаты низкие шкафы красного дерева с затейливой резьбой. На полках книги. Больше всего книг в кожаных переплетках с пожухлым золотым тиснением на корешках. Старинные книги. Есть и недавние книги сочинений Пушкина, Крылова, Кольцова, Бенедиктова, Марлинского.

Над камином висит картина, писанная Кириллом Карнауховым. На ней – Ерофей Марков в глухом лесу держит в руках камешек с вкрапинами первого уральского золота. На противоположной стене – портрет Ксении Захаровны кисти Ореста Кипренского.

В доме Карнауховых Шнель появился давно. Приехал из Санкт-Петербурга как учитель музыки. Двенадцать лет обучал Ксению Захаровну и так прижился к дому, что не покинул его и после замужества ученицы.

Шнель гордился ученицей, только жалел, что при всех ее незаурядных способностях она не стала музыкантшей. Его всегда огорчало то, что разум Ксении главенствовал над чувствами, и теперь окончательно уверился в этом, поняв, что даже замужество не помогло ее сердцу умерить власть рассудочности. Шнель внимательно следил за развитием характера девушки и пытался музыкой пробудить в ее душе нежность и ласковость. Но потерпел неудачу, убедившись, насколько сильным было в ней увлечение своей внешностью. Ксения любила музыку, но любила холодно и рассудочно. Ее музыка, безукоризненная по исполнению, не была согрета душевной теплотой. Ксения охотно принимала чужое самопожертвование как должное, но сама идти на самопожертвование не хотела. Она никогда не поступалась решением своего разума. Волевая непреклонность ее почти не знала поражения.

Старый учитель допускал, что рассудочность завладела Ксенией из-за постоянного созерцания сурового величия уральской природы и от одиночества, с которым сдружилась с первых шагов детства. Девочкой она росла, почитай, без участия матери, у которой не было времени для ласки, – сколачивалось карнауховское богатство. Но мать дала ей завидное для купеческой среды воспитание.

Премудрости русского языка ей передал весьма образованный обедневший отпрыск петровского дворянства. Французский язык и светские манеры она постигла от француза, легкомысленного пшюта. Это он научил ее любить только себя. Это с его слов Ксения уверила себя, что ее сила во внешности. Это от его похотливых прикосновений в ней слишком рано проснулась женщина.

Родителей в детстве и юности Ксения боялась. Особенно боялась мать. Ее решениям подчинялась беспрекословно, ибо от матери зависело ее благополучие. В ней, так же как и

в матери, было сильно стремление к богатству, а потому с юности вникала во все материнские дела по золотому промыслу.

Страх перед матерью у Ксении исчез, когда вернулась в родительский дом вдовой с капиталом мужа и вложила его в прииски да пошла по одному пути с матерью, исподволь перехватывая у нее власть на управление делами. Уже четыре года с самой ранней весны до первого снега жила в лесах, меряя их версты в переездах с рудников на промыслы, раскиданные на просторах Урала от реки Ис до реки Миасс. Мирилась с невзгодами кочевого бытия ради одной мысли – больше намыть золота.

Зимой жила в Екатеринбурге. Со скуки бывала на местных балах. По необходимости посещала семейные торжества в домах купцов и промышленников. Вела переписку со столичными подругами. Снисходительно принимала ухаживания чужих мужей. Порой, охваченная мрачной меланхолией, неожиданно для всех запиралась в своих комнатах, не выходила к гостям, по вечерам не пропускала церковной службы, а то играла на клавесине или часами слушала игру Фридриха Францевича.

Двадцать лет жил старый музыкант в доме, где от него никто ничего не требовал, где его уважали и любили музыку, как он любил ее сам...

Звуки клавесина негромким эхом отзывались в анфиладе комнат и растворились в сумеречном свете. Шнель расслабленно опустил руки, оборотился и вздрогнул – на него задумчиво, словно прислушиваясь к ускользнувшим звукам, глядел Бетховен.

Шнель никак не мог привыкнуть к этому каменному, но такому одухотворенному лицу композитора, высеченного из куска мрамора скульптором-самородком Сергеем Ястребовым. Одаренного, с «божьей искрой» крепостного парня откупила семь лет назад Василиса Карнаухова от кыштымского заводчика Петра Харитонова за сто тридцать рублей.

Долго смотрел на скульптурный портрет старый Шнель, потом встал, подошел к нему и сказал вслух:

– Ну что же, Сергей, может, ты растопишь лед в душе Ксении, иль она тебя остудит...

\* \* \*

В просторной кухне карнауховского дома вкусно пахло свежеспеченным хлебом. От жарко истопленной печи растекалось размаривающее тепло.

На столе под голубой холщовой скатеркой на круглом до блеска начищенном подносе затухал пузатый самовар. На самоварной конфорке расписной чайник гнезвился, как курица-парунья.

В подсвечнике оплывала свеча, а вокруг нее наставлена посуда: вазочки с медом и вареньем, тарелки с шанежками и ватрушками, а над яствами возвышалась зеленая глазированная кринка с топленным молоком.

Чаевничали трое: садовник Поликарп, старшая стряпуха Алевтина и зашедший обогреться рыжий странник Осип.

Поликарп – старец, седой как лунь. Лицо его заросло пушистой, вихрастой бородой. Широкий лоб в морщинах. Серые глаза устало смотрели сквозь нависавшие брови. Чай он пил не торопясь. Долго дул на блюдце, прежде чем сделать глоток. Ворот рубахи расстегнулся, на впалой груди видна медная цепочка нательного креста.

Лицо кухарки Алевтины с пятнышками веснушек дышало здоровьем. Она пила чай с большой охотой, обжигаясь, пила его горячим, и лоб ее блестел от испарины.

Странник Осип изредка поглаживал свою наполовину облысевшую голову. Рыжая борода, похожая на обрывок мочалки, подрагивала, когда он, причмокивая, отхлебывал питье с ложечки.

Осип, допив чай, сокрушенно покачал головой:

– Спорая метелица расподолсилась. И зачалась вдруг. Из Катайского села вышел – мело будто не больно шибко, а опосля как задуло, завертело, ни дать ни взять истое светопреставление.

Алевтина налила страннику горячего чая, вступила в разговор:

– Полагаю, не к добру новый годок споначалу разметелился. Маята для меня непогода. Не сплю из-за нее, испытываю душевное беспокойство.

Поликарп, крикнув, протянул Алевтине порожний стакан:

– Плесни. О чем речь повела? Беспокойство. Ешь меньше на ночь, станешь спать безо всякой тревоги. Не тревога от тебя сон гонит, а чистая бабья блажь от сытой жизни.

– Я, дедушка Поликарп, чать, живая. Тревога во мне от горестных раздумий заводится.

– Вижу, что не покойница. Раздумия и у овечки водятся. Тревога твоя понятна. Вдовство одолевает.

– Неужли?

– Слушай мой сказ. Ешь на ночь не досыта. Не опасайся, во сне от этого на тело не спадешь.

За столом наступило молчание. Алевтина, покраснев, пила чай, не поднимая глаз. Неловкость нарушил странник:

– Замысловата людская жизнь. Ты, видать, добрая душой, Алевтинушка. Меня, как желанного гостя, приветила.

– У нее все ходоки-топочи в почете.

– Уважаю прохожих странников. Тебя пустила оттого, что голос твой разом поглянулся.

– Голос у меня ничего. Глянется людям, когда сказы сказываю.

– И много знаешь?

– Про уральскую старину сказы ведаю. Про Полоза. Про девку-поскакуху. Про хозяйку горы Медной. Про малахит-камень узорчатый. Много сказов ведаю. Сказываю их с душевностью, чтобы сим антирес разжечь. Да прямо скажу, что иной раз сказами из-за бедности ночлег и прокорм отрабатываю.

Осип, почувствовав пристальный взгляд Поликарпа, нерешительно пододвинул Алевтине пустой стакан:

– Коли не осудите, налейте еще стакашик. Водица у вас – бархат по мягкости.

– Ключевая, оттого и мягкая, – сказал Поликарп.

– Гляди ты. Вот и думаю, что не схожа она с речной.

– В роще ключ бьет из-под вековой березы. Напористый. В лютую стужу не поддается морозу.

– Дозволь подумать, что ты здесь при хозяйстве вроде смотрителя?

– Угадал. Гляжу за березами. Старость ихнюю оберегаю по приказу хозяйки. Про нашу рощу люди сказы говорят. Строгость порядка понимаю, а посему приставлен к такому делу. За все непорядки подле господского дома держу ответ перед хозяйкой. А ты, человек, меня слушай, а чайку стыть не позволяй. Студеный чай в зимнюю пор нашему брюху без пользы. Душа людская от чайного тепла, как окошко в ясный день, распахивается.

– Вот ведь как! А напиток вовсе бусурманский, но все одно гожь для православного человека.

– Вы ватрушечки попробуйте, дяденька Осип.

– Не торопи, голубушка. Добрую пищу потреблять надо со вкусом, чтобы ладом распознать.

– Радостно мне, что завернул к нам. С новым человеком новым словом люблю перекинуться. Со своими-то уж обо всем пересказано, переговорено. От странствующих людей про диковинное услышать доводится.

– Правильно судишь. Мы люди на особицу. За это Господь пути-дороги к хорошим людям нам сквозь метелицы да бураны указывает. Только одно беда, не ото всех людей одинаковое уважение углядываем. Прямо скажу, на Святой Руси всяки люди водятся. Есть такие поганые, кои нороят обидеть либо в жуликов обрядить. С виду будто в Христа верят. На храм глядя, лоб крестят, а нас, воинство христово, ворами да жуликами величают. Под рождество меня в Шадринске здорово отмолотили. Кровушка из носу вытекла. А спросите, за что отмолотили? Прямо зря. Показалось одному купцу, что у него со двора я гуся слямзил. Избил меня на улице, при народе, а потом, когда пригляделся, прощения за ошибку просил, в ноги кланялся – ликом обознался. Меня, честного человека, за воруягу признал. Обидчика, конечно, пришлось простить, только в разуме заноза обиды на него крепко засела... Пододвинь, голубушка, вазончик с малиновым вареньем. Хочу с ним еще стакашик выкушать. Малость поостыл в пути. Малинкой надо застуду упредить в теле. Староват стал. Застужу ноги, zaczynaет кашель душить по ночам.

Поликарп, закончив чаепитие, перевернул на блюде стакан вверх дном, отодвинувшись от стола, спросил странника:

– Звать тебя как?

– А я сказывал.

– Не расслышал. Туговат на уши.

– Осипом крестили.

– За сбором по краю топаешь?

– Шестой десяток без устали.

– Кукушкой живешь. Муторно, поди, без своего-то гнезда?

– Про кукушку отчего помянул? Рабом божьим проживаю.

– Все мы рабы божьи. И жулики и праведники. Беседуйте, ежели есть охота, а мне на боковую подошел час.

Поликарп пристально оглядел Осипа.

– Сокрушаю, видать, тебя? – Странник смиренно вздохнул.

– Чудно, Осип. Шестой десяток живешь, а седины в волосе нету. Видать, легко живешь?

– Неужли не знаешь, что рыжий волос дольше всех в себе огненную краску держит?

– Может, и так. Про это не знаю. Только водится у меня один знакомец. Он куда рыжеватее тебя, но от забот да от работы в шахте на третьем десятке начисто побелел. Конечно, у всякого человека в волосе своя краска. Одна стойкая, другая линючая... Доброй ночи вам. Гостя, Алевтинушка, проводи почивать в сторожку, к деду Капитону. Тулупчик мой прикрыться ему прихвати. Под ним гостю тепленько будет.

Поликарп, шаркая валенками по полу, покряхтывая, вышел из кухни, прикрыв за собой скрипнувшую дверь.

– Сторожкий старичок.

– Хороший. Только странников не почитает. Побаивается их. Сказывал, что одинова странник его начисто пообокрал. Добрый старик. Мудрый в меру, но этим ни перед кем не похваляется. У дворни нашей первый советчик и заступник.

– А велика дворня у вас?

– Не совру. Более пяти десятков. Да как без народу? Домина, сам видишь, дворец.

– Дозволь узнать, кто хозяйка ваша?

– Да ты что? Не знаешь, куда зашел? Карнаухова – наша хозяйка.

Странник удивленно всплеснул руками:

– Батюшки светы, Василиса Мокеевна?

– Она самая.

– А я, пустая голова, думал, что совсем в незнакомом доме ночлег сыскал. Заплутал в метелицу. Шел к Кустовым, а попал к Карнауховой. Сказать кому, так не поверят, что на вашей кухне чай пил. Как здравствует хозяйка?

– Дома нету. Уж два месяца как в Петербург укатила, да и к сыну в Москву собиралась наведаться.

– Слыхать доводилось, что сынок живописец.

– Обязательно. Только дома живет наездами. Все более по столице и по заграницам раскатывает. У матери денег много, вот его и тянет в сторону от родного дома. Парень из себя видный.

– Так, так... Экой чести Господь меня, грешного, удостоил! В эдаком доме ночую. Про хозяйку вашу наслышан. Жизнь живет как хочет и ни перед кем ответа не держит. Сказывал мне о ней камышловский богатей. Женушка его, Любава Лукишна, дружит с вашей хозяйкой.

– Порошина, что ли?

– Она.

– Да не дружит она с хозяйкой. По секрету тебе скажу. Она тайная зазноба молодого хозяина.

– Быть того не может.

– Право слово. Видать, муженек у нее староват.

– Ледащий муженек. Хворый. В постели прееет по десять месяцев в году.

– Тогда дело понятное. Молодая. Скушно с ним.

– И тебе секретец скажу. Муженька она не любит. Живет подле него с надеждой, что богатой вдовой во всю ширь развернется. Из твоих слов уясняю, что Любава Порошина у сынка Карнауховой вроде как незаконная супруга.

– Вот уж про это, упаси бог, ничего не знаю. Напраслины наговаривать не стану. Баловство в любовь – это одно, а тайное супружество при живом муже – вовсе другая статья.

– Не изволь сумлеваться. Она ему тайная супруга. Потому, что зазноба, что тайная супруга – все одно. Да против такой бабы разве может мужик устоять? Да она только глазом моргнет. Гостит у вас частенько?

– Частенько наезжает, когда молодой хозяин здесь.

– С ее красоты тоже патреты пишет?

– Да с них и началось все. Много их написал. И так и эдак. На одном она во весь рост срисована. Он у нас в верхнем зале на самом видном месте висит.

– Вот бы взглянуть.

– Охота?

– А как же.

– Это можно. Утречком молодая хозяйка поедет провожать Харитонику. Домоправительница в часовню молиться пойдет. Я и свожу тебя.

Встав из-за стола, Осип страхнул крошки с одежды, в пояс поклонился Алевтине:

– За угощение благодарствую, голубушка. Теперича укажи путь к ночлегу... Икона в сторожке водится?

– Капитон набожный.

– Вот и хорошо. Утречком не позабудь об обещанном.

\* \* \*

В зеленой гостиной куранты пробили одиннадцатый час ночи.

Музыка старого учителя больше не тревожила тишину дома, в нем погуливало эхо от завываний ветра расходившейся метели.

В камине книжной комнаты кумачовыми лентами косматился огонь. Тарас Фирсович, заходя в комнату на носках, уже дважды подбрасывал в камин поленья, и каждый раз они, разгораясь, потрескивают, разметывая искры.

У камина грелись Ксения Захаровна и Мария Львовна Харитонова.

Ксения сидела в кресле, поджав под себя ноги, в бархатном халате, вдавив плечи в мягкость штофной спинки. На шее Ксении на бархотке медальон с бриллиантками, вспыхивают они голубыми холодными блесками. Ее лицо бледно. Глаза под серпами тонких бровей. Темные волосы лежат на плечах кольцами и на висках прошиты сединками, такими преждевременными для прожитых ею тридцати двух лет. Пальцы ее рук на темном бархате халата кажутся особенно тонкими, на левой руке ободок обручального кольца.

Против Ксении, в таком же кресле, сидела Мария Львовна. Она вытянула к огню ноги, обутые в сапожки на меху из красного сафьяна, руки положила на мягкие подлокотники кресла. Лицо строгое. Мало тепла в ее зеленых глазах. Под ними отечные мешки в тонкой паутине морщинок. Рыжеватые волосы с прошвой седины. Кожа на щеках дряблая.

Марии Львовне доходил пятый десяток, но одета она пестро и по-купечески богато. И все же пестрота наряда не могла скрыть следы подступающей старости.

Тени беседующих ворошились на полу, на книжных шкафах и походили на взмахи крыльев больших черных птиц.

Возле кресла Харитоновой на столике в хрустальном графине коньяк. Она всегда любила выпивать понемногу, а после того как проводила мужа в финляндскую ссылку, стала пить сильнее и даже в одиночестве. За последний год как-то разом расплзлась и отяжелела. Перестала следить за своей внешностью и только холила пухлые руки, униженные кольцами.

Пужинав у Ксении, осталась ночевать из-за метели...

У вольского купца, баснословного уральского богача Льва Расторгуева было две дочери – Мария и Екатерина. Их девичья пора прошла среди пьяного разгула родительского «расторгуевского дворца». Мария была старшей. Отец по своему выбору и желанию выдал «своих девок» замуж. Мария стала женой Петра Харитонова. Соединение с новым капиталом дало возможность Расторгуеву еще шире развернуть собственную власть над заводским и золотопромышленным Уралом, так как появление Карнауховой с ее состоянием мешало ему быть непревзойденным миллионщиком.

Катерина стала женой Александра Зотова. Его отец, Григорий Федотыч Зотов, давно привлек внимание Льва Расторгуева. Слава про него гуляла самая мрачная. Он управлял заводами корнета Яковлева и по жестокости к работному крепостному люду затмил свирепство прошлых Демидовых. Но это не волновало Расторгуева. Он знал, что Яковлев, доверив управление заводами Зотову, наживал дикие деньги. Расторгуев решил, что Зотов для него находка, именно он сможет все выжать из крепостных и умножить расторгуевские капиталы. Чтобы получить Зотова к себе, он породнился с ним, выдав дочь Катерину за его сына.

Это было время, когда Расторгуев, стремясь к славе, скупал земли Южного Урала с заводами и приисками, когда откупил от наследников Демидова весь Кыштымский округ.

После замужества обе дочери с мужьями поселились в Кыштыме. Мужья числились управителями, однако никакого участия в делах округа не принимали, а всем правил Григорий Зотов. Поощряемый Расторгуевым, он уже через два года наладил самую страшную кабалу горнозаводского крепостничества, и главным средоточием его лиходейства стали скрытые в лесах Соймовские промыслы. Человеческая кровь обильно заплескивала земли расторгуевских владений.

Мария первой почувствовала, что управление «Гришки из Кыштыма» могло окончиться для расторгуевского благоденствия катастрофой. Ей было известно, как часто на заводах и приисках округа вспыхивали рабочие бунты, жестоко подавляемые Зотовым всеми способами. Из столицы по разным доносам все чаще стали наезжать следователи, но Зотов, хитро подкупая и обманывая их, заметал следы своих деяний.

Скрытая домашняя неприязнь Марии к Зотову ничего не меняла. Расторгуев не слушал дочь и, чтобы отвязаться от ее приставаний, обещал все обдумать и разузнать, а пока, суть да

дело, откупался от назойливой дочери подарками в виде приисков и рудников, переписывая их на ее имя, но не отнимая из-под надзора Зотова.

Расторгуев и сам прекрасно знал про «художества» Зотова над рабочим людом, но упорно не хотел с ним расставаться, ибо прибыли его росли невероятно.

Неприятнь Мариин к управляющему раздражала отца, и он приказал ей покинуть Кыштым, жить возле себя в Екатеринбургe.

Вскоре отец умер. А потом произошло то, чего опасалась Мария: длительные и бурные волнения рабочих заставили Петербург заняться заводами Расторгуева, и в Кыштымский округ неожиданно прибыл следователь – граф Александр Строганов.

После трех месяцев следствия по приказу Строганова была спущена вода заводского пруда. На его дне нашли десятки человеческих скелетов. Обнаружилась страшная картина убийств. Преступление получило широкую огласку, и Строганов вынужден был донести министру Канкрину в Петербург о злодействах во владениях Расторгуева, довольно верно описать тяжелое положение заводских рабочих. А над его донесением витал откровенный страх миллионщиков перед упорными, все более настойчивыми и частыми выступлениями рабочего и крестьянского люда на российских просторах – утихомирить бы все это, а в согласии работники и прибыль увеличили бы.

Григорию Зотову и мужу Марии – Харитонову, как главному управителю, грозило наказание шпицрутенами и вечная каторга. Спасая мужа, считая его виновным только в безволии, Мария, хотела того или нет, вместе с ним спасла и Зотова. По решению императора их обоих отправили только в ссылку, в финляндский город Кексгольм.

Проводив мужа, Мария в течение десяти лет пыталась оградить отцовское богатство от рук Александра Зотова. Обе сестры уговаривали его не распродавать заводы и шахты, но Александр Зотов, обвиняя Марию в гибели своего отца, упорно продолжал самовольничать. Мария добилась раздела состояния, но управляла всем примитивно и неумело: приказчики и управители то и дело обводили ее вокруг пальца, наживались.

Жила Мария, как прежде, окруженная приживалками, прихлебателями в огромном отцовском доме, подаренном ей в день свадьбы. Она пристрастилась к вину. Появлялись и исчезали друзья, слетавшиеся в ее дом с единой надеждой – пожить возле ее богатства, все еще очень и очень значительного...

Тепло камина разморило плотно повечерявшую Харитонову. Ее одолевала дремота. Прищуривая глаза, она поглядывала на хозяйку дома. Не только метель заставила ее остаться в гостях с ночевой. Была и другая причина. Она выжидала подходящего момента затеять разговор. Но Ксения нынче на редкость хмурая. Зная ее вспыльчивость, Харитонова не решалась начать беседу. Такого настроения Ксении она не любила и побаивалась, но ей не терпелось передать совсем свежие сплетни, расплзавшиеся по городу о молодой Карнауховой.

Вздрыгнула от слов Ксении:

– Не узнаю тебя сегодня, Марья Львовна. Прикатила ко мне новости рассказывать, а сама словно в рот воды набрала.

– Да какие такие новости. Сущие пустяки, – оживилась Харитонова.

Ксения пристально и вопросительно посмотрела на нее.

– Чего ты на меня, Ксюша, эдак уставилась?

– Дожидаюсь, когда начнешь рассказывать.

– А к чему у тебя больше интерес?

– Начни хотя бы с того, как у Зарубиных пироги ела.

Харитонова широко открыла удивленные глаза, сокрушенно покачала головой:

– Слышала?

– Смотря о чем.

– Про себя слышала?

– Слышала, что Плеткин меня на людях назвал своей любовницей. Рассказывай.

– Уволь. Не люблю сплетни густить.

Ксения засмеялась:

– Как очевидица рассказывай. Выпей для храбрости и начинай, не крестясь...

Ксения пошевелилась в кресле, а от ее движения Харитонов даже поежилась.

– Нервная ты стала, Марья Львовна. Рассказывай мне гольную правду, ни о чем не утаивай.

– Сама велишь. Ежели чего не поглянется, не серчай. Пьяным-пьяно было вчера у Зарубиных. Пирог пекли. За столом уместилось двадцать четыре души. Плеткин к концу ужина явился. Прикатил без благоверной и шибко на взводе.

– Пьяный?

– Ну да. Покачивался. Садясь за стол, старухе Сидельчихе платье вином окатил. Та на него крик подняла. Угомонилась только, когда Плеткин пообещал ей новое платье из столицы привезти. За столом стал он хвастаться, как свою жену в крепком решпекте держит. Молодой инженер Хохликов вступил с ним в спор. Доказывать стал, что домострой – подлость. Слово за слово – и спор разгорелся не на шутку. Гости стали их подзадоривать. Одним словом, стали в огонь масла подливать.

– Зарубин что говорил?

– Прокоп Зарубин молчал. Только хмуро на всех поглядывал. Плеткин, выпучив глаза, стал поносить Хохликова, а под конец и высказал: «Ты, говорит, еще щенок меня уму обучать. Тощаешь от светлых идеалов. Сохнешь по столичной вдовушке Ксюше Карнауховой. Как на икону на нее молишься. А я тебе вот что скажу. Самая она обыкновенная смазливая бабенка. Нет в ней ничего особенного, хотя и была замужем за столичным сановником...» Хохликов Петюша от его слов как бумага белым стал. Не стерпел парень и заорал на Плеткина, что не смеет он так об тебе говорить. А Плеткин как расхохочется да и сказал, от чего все за столом обмерли: «Говорить про нее я все смею, потому Ксюшка была моей полюбовницей. Ежели кто не верит, сами у нее спросите». Родимая! Что туг за столом сделалось. Содом и Гоморра. Хохликов Петюша, утерев разум, кинулся на Плеткина, стал его хлестать по морде. Так молотил, что из плеткинського носа сурик потек.

Ксения поднялась с кресла, прошла по комнате. Харитонов молча налила рюмку коньяка и выпила.

– Дальше! – потребовала Ксения.

– Ничего больше не слыхала, не видала. Но знаю, что Плеткина в кошеву на руках из дома вынесли. Я до полуночи с хозяйкой дома отваживалась. С перепугу она в обморок грохнулась. А ведь она на сносях. Что скажешь, Ксюша?

– Ничего не скажу.

– Ты только подумай, что посмел на тебя наплести.

– Плеткин правду сказал.

От удивления Харитонов замерла.

– Что рот открыла, как рыба без воды?

– Ксюшенька. Подумай, что на себя сказала.

– Правду Плеткин молвил. Но – подлец. Поганый подлец, если посмел выдать тайну моей ласки. Женщина я. Самая обыкновенная женщина, со всеми желаниями и помыслами, как у всех. Молодая я, Марья Львовна. Подлец! Для кумушкиных языков теперь надолго забава.

– Ночами не сплю, Ксюшенька, как подумаю, что будет тебе, когда Василиса домой воротится. Упаси бог, ежели про сплетки узнает.

– Ничего не будет. Спи спокойно. Сама скажу матери, как тебе сейчас сказала.

– Да как же, Ксюшенька, с ним спуталась?

От ее вопроса Ксения вздохнула:

– Будто сама не знаешь, как это случается?

Неожиданно Ксения закричала на Харитонову:

– Будто сама за спиной мужа не спутывалась?

Харитонова в испуге замахала на нее руками:

– Господь с тобой!

– К чертям бы вы все провалились! – Ксения в раздражении ходила по комнате, остановилась у камина, положила в него полено, приблизилась к Харитоновой и сказала шепотом: – Мне жаль Петю Хохликова. Хорошие слова от него слышала. Запомнила те слова, а понять их не захотела. Нет любви! Мужики выдумали это чувство, чтобы легче нашу ласку выпрашивать. Вот скажи, ты испытала любовь?

– А как же...

Ксения медленно подошла к клавишину и резко обернулась:

– Врешь! Я не верю в любовь. Все вы любите, а своих любимых обманываете на стороне. Любовь – это преданность любимому. Если любовь существует, если она когда-нибудь заведется во мне, то я никогда не осмелюсь обмануть любимого лаской с другим.

– Мудрено говоришь.

– Про неиспытанное чувство по-другому говорить не могу. Разум мной правит. Сердце во мне только работает. Понимаешь? Терпеть не могу про любовь говорить. Все мужья на словах жен на руках носят, а на самом деле плетью, кулаками, бранью в гроб загоняют. – Ксения задумалась. Дотронулась до клавишей, струны ответили нестройным аккордом. – Жаль мне Петю Хохликова. Тебе, Марья Львовна, обидно, что не по тебе парень сохнет.

– Будет тебе. Постыдись ко мне с эдакими словами вязаться. Истая ты карнауховская порода. Вся в мать. Что на уме, то и на языке.

– Нет, не все на языке. Про многое умею молчать. Про Плеткина бы тебе сама никогда не сказала, если бы мужик не оказался подлецом.

Ксения потушила в канделябрах свечи и, подойдя к креслу Харитоновой, налила в ее рюмку коньяка и выпила.

– Зря пьешь, Ксюшенька, в таком состоянии.

– Злая сейчас. Понимаешь, злая. На себя злюсь, что подлеца в Плеткине не разглядела. Пойдем спать.

## Глава седьмая

### 1

Мели по всему Уралу январские метели. Они лихо отплясывали по казенному Кушкинскому заводу, замели избы по самые крыши. Глубокими были переметенные снега на улицах и площадях завода, а укатанные дороги по ним шли с бугра на бугор.

Разрослась, отстроилась Кушва с тех пор, как у нее под самым боком в заболоченных лесах отыскали платину.

Находка нового для этих мест драгоценного металла свела с ума уральских богатеев, а кушвинских купцов вытряхнула из тулупов лабазного сидения. Даже приисковый народ около платины стал жить сытнее, заменял лапти на сапоги со скрипучей музыкой в подошвах.

Кушвинское купечество превращалось в промышленников, устраивало свою жизнь в каменных домах – совсем как в Екатеринбурге.

### 2

В воскресный день после обедни смотритель платиновых промыслов дворянина Шумилова всеведущий Никодим Стратоныч Зуйков позвал гостей на пироги.

Изда Стратоныча стояла в сосновом бору на склоне Малой Благодати. Жил шумиловский смотритель по-богатому. Был бездетным вдовцом. Его хозяйством управляли часто смеявшиеся хозяйки-солдатки либо приисковые женщины, примеченные Стратонычем за смазливость лица и стройность.

Гостей угощала Дарья, родом из Рязани, второй год державшая Стратоныча возле себя. По заводу и промыслам бродили слухи, будто она до того крепко прибрала мужика к рукам, что от ее кулаков у него расцветали синяки то под одним, то под другим глазом.

За столом, покрытым кружевной скатертью, гости ели пироги с крепкой выпивкой. Дарья суетилась у печи и, потчужа гостей, почти не присаживалась к столу. Гости – известные люди на всем заводском и приисковом Урале. Один из них – старатель Тихон Зырин. Не гнушались водить с ним крепкую дружбу самые именитые богатеи, так как благодаря Тихону в их карманы немало пересыпалось золота из тех мест, которые он указал им.

Зырин вдоль и поперек исходил уральскую землю, высматривая пески с россыпями золота и платины. Сам находил золото, сам давно бы мог стать богатеем, но не привычен был к оседлой жизни и потому с весны до зимы жил в лесах, а зимой – то в одном, то в другом месте у дружков, согреваясь около чужого тепла. Деньги в карманах держать не любил. Раздавал их беднякам, у кого ребята табунились по избам. В одном себе никогда не отказывал – в хорошей одежде. Никто из приисковых людей не видел его, даже на промыслах, в драной лопотине.

Про Тихона в народе разговоров ходило немало. Старые люди утверждали, что отцом его назывался Петр Зырин и был он тем самым пареньком, коего от дедушки увел с Елупанова острова через зыбуны и трясины пришлый мужичок.

Тихон прожил жизнь бобылем. Леса, реки, болота, золото, самоцветы стали его стихией. Про все это он знал многое и недаром иной раз зимой, зайдя к кому-нибудь на ночлег, при случае начинал сказывать свои бывальщины, от которых хозяева, заслушавшись, забывали про сон на всю долгую зимнюю ночь.

Приисковый народ любил Тихона за сердечность, за то, что всегда мог рассчитывать на его помощь. Но бродяжила и другая молва про него, пестрая, как ситец. Говаривали, что за

погляд Катерины Расторгуевой Тихон открыл ее отцу тайну Кочкарских золотых россыпей. За кое-что большее он отдал золото Миасса в руки Василисы Карнауховой. Но это были разговоры. Сам Тихон про подобное ничего не помнил, а когда его спрашивали об этом, отмахивался и сердито хмурился.

Второй гость – Григорий Павлович Тихвинцев, беглый сынок вятского купца, по приисковой кличке Одуванчик, обличьем шуплый, косоплечий, с выщипанной бородкой и начисто лысый, у правого его уха нет мочки. Всю свою жизнь на Урале он одурачивал различными виртуозными выдумками пришлое в край купечество, торгуя якобы отысканными им золотоносными местами. При торге были богатые знаки на золото на указанных Одуванчиком местах, но после покупки новый хозяин ничего на них не находил. Из своих проделок Тихвинцев всегда выходил сухим, как гусь из воды, и только один раз был так сильно избит обманутым, что три месяца не вставал с постели, а во второй раз другой купец за обман откусил у него мочку уха.

Состарившись, Тихвинцев от мошенничества отошел, занялся скупкой золота у старателей, платя на несколько копеек дороже казенной цены за золотник, а сам перепродавал желтый металл промышленникам. Приобрел два дома: в Кушве и Нижнем Тагиле. Жил в них ни бедно, ни богато, но всегда в тепле укладывался спать. Одуванчик имел веселый характер, со всеми водил дружбу, а за Тихоном ходил тенью.

Про Стратоныча на Ису слава была недобрая. Двадцать лет назад привез его на Урал из своего поместья покойный отец нынешнего барина и поставил смотрителем над промыслами. Лютость Стратоныча к рабочему люду неумемна. На каждого цепной собакой кидался, видя в унижении людского достоинства свое превосходство над крепостными. На приисках, заменяя хозяина, чувствовал себя владыкой и нагайку носил с собой, как нательный крест. За гнусность его дважды подкалывали ножами, но, и сильно раненный, он все-таки выживал. Прошлой весной его кинули в вешнюю воду Иса с камнем на шее. Однако он выплыл, вовремя порвав веревку. Избежав смерти, любил тем похвастаться на народе, намекая, что его спас бог. Мстя неведомым врагам, Стратоныч прошлым летом полосовал нагайкой всех, кто попадался на глаза, и утихомирился только тогда, когда испугался ответа за смерть женщины, запоротой им. Ему недешево стоило откупиться от суда...

Гости досыта наелись вкусных пирогов. Выпивка сильнее всего одурманила Стратоныча и Тихвинцева, а Тихон, хотя и пил не меньше, был, как говорится, ни в одном глазу. Дарья убрала посуду с объедками и поставила на стол самовар. Она разлила по стаканам чай и, приметив подмиг Стратоныча, ушла в другую горницу.

За чаем Тихвинцев стал похваляться былой удалью, вспоминая, как дурачил купцов. Стратоныч и Тихон от души посмеялись над его рассказами, но смех нагнал на Стратоныча хмуристь, и, оглядев гостей, он махнул рукой, резко выкрикнул:

– Будет смехом тешиться! Серьез для вас ношу в разуме. Как понимаете, зачем это позвал вас на пироги?

– Так и понимаем, что воскресный день, – ответил Тихвинцев.

– Нет, Григорий Палыч, для сего завелась у меня другая важная причина. Праздновал, вспрыскивал с вами мою скорую вольность. Бежит ко мне вольность, прописанная на бумаге, от нашего барина из самой Белокаменной.

Раскуривая трубку, Тихон оборвал речь Стратоныча:

– Яснее и покороче сказывай.

– Можно. Слушайте. Весть мне барин по осени подал. Не воротится больше в Екатеринбург. Вдоволь я нагреб ему золота в карманы. Он теперича... тю-тю... Продал барин прииски. Все до единого продал, а мне за верную службу вольность дал.

– Кому продал? – нетерпеливо спросил Тихвинцев.

– Какой пряткий. Так я тебе сразу и скажу. Погоди. Объявится новый хозяин, тогда узнаешь.

– Годить мы не станем. Знаем, кто купил, – прищурившись, безразлично сказал Тихон.  
– Хвастаешь? Ничегошеньки-то ты не знаешь про тех, кто купил. Скажу только вам, что промыслы теперича не в православных руках.

– Турки, что ли, купили? – засмеялся Тихвинцев.

– Турки не турки, а вроде их. Да, теперича поживу, а глядишь, годков через пяток сам стану барином.

– Высоко лезешь, не оборвись с гнилого сучка вниз башкой.

– Не беспокойся, Тихон. Новых хозяев так околпачу, что молитвы запоют. Под орех их отфугую.

– Да кто они? – снова настойчиво допытывался Тихвинцев.

– Как кто? Иноземцы.

– Иноземцы?

– У, лысый дьявол, изловил-таки меня на слове. Смотрите у меня оба. Никому ни слова про такое. Коли что – зашибу.

– Обоих зашибешь? – усмехнулся Тихон.

Совсем охмелевший Стратоныч, уставившись на Тихона удивленным взглядом, громко захохотал:

– Господь с тобой, Тихон Петрович, тебя не трону. Одурю иноземцев дураков и стану на промыслах хозяином. Ты мне помоги, Тихон, их округ пальца окрутить. Поможешь?

Тихон стукнул по столу кулаком, отчего его стакан с недопитым чаем опрокинулся и залил чаем скатерть. Вышел из-за стола.

– На кого осерчал, Тихон Петрович? – спросил Стратоныч.

– Всей душой осерчал, что твой барин иноземцам в руки эдакое богатство отдал. Подумать страшно, что деется. Иноземцев к золоту допускают. Раньше от руды отшугивали, а теперь иноземцев кто станет отшугивать от золота и платины?

– А царь на что? – многозначительно спросил Тихвинцев и в ответ услышал хохот Стратоныча:

– Уморил... Царь. Ему нужно наше золото, платина, а зачем знать, кто их намывает.

– погоди, погоди. Тише про такое, Стратоныч. Упаси Господь, – покраснев от испуга, прошептал Тихвинцев и погрозил смотрителю пальцем.

– Не желаю молчать! Вольный теперича! Хочу в полный голос разговаривать. Будет молчать! Вдоволь напрыгался осередь вас в крепостном хомуте. Понатер себе мозоли.

– От нагайки они у тебя на руках. Хлестал народ.

– Хлестал, а теперича стану для народу святым. Потому вольным буду.

– В наших лесах поговорка водится, будто у серого волка лютость от воли заводится, – усмехнулся Тихон.

– Про что намекаешь?

– Понятней скажу. Кем родился, тем и ноги в гробу протянешь.

– Не веришь, что характер наизнанку выверну?

– Вестимо, не верю. Характер у человека не портянка, от пота не отстирывается, – серьезно сказал Зырин.

– Вот это верно. Не стану характер менять. В страхе стану народишко держать. От страха из нашего народа в труде чудеса объявляются.

– Сволочь ты после таких слов.

– За что обзываешь, Тихон Петрович? Тебе теперича со мной дружить надо, а не ссориться. Ишь как злуще на меня смотришь! Ладно, не стану больше плохо про людей говорить. Не любишь, когда их даже словом поносят.

За окнами раздался веселый трезвон колокольников.

– Кто-то подкатил к твоим воротам. Может, вольность привезли, – сказал Тихон.

– Не смей надо мной насмехаться!

Во дворе залаяли собаки.

– Кажись, в самом деле кто-то пожаловал.

Встав из-за стола, Стратоныч, сильно покачиваясь, подошел к окну с промерзшими стеклами:

– Не видать ни черта. Дарья!

– Чего надо? – спросила Дарья, выйдя из другой горницы.

– Ступай за ворота и погляди, кого черти принесли не вовремя.

Дарья вышла в сени, но через минуту вернулась в избу, широко распахнула дверь с поклонами и засыпала скороговоркой:

– Милости просим, матушка-барыня. Ниже клони голову. Дверь у нас низко прорублена.

В избу вошла и выпрямилась высокая, статная женщина, и все узнали Василису Мокеевну Карнаухову.

– Затворяй дверь, молодуха, не студи избу, – сказала Карнаухова и, прищурившись, осмотрела стоящих перед ней мужиков.

Ее усталое лицо в морщинах. В колючих глазах властная суровость. Нос с горбинкой. Одета в бархатную ротонду на собольем меху. На голове капор из лисьего меха. На руках меховые варежки. В левой руке посох черного дерева, до половины окованный золотом с вставками из самоцветов. Карнаухова сняла варежку с правой руки, перекрестилась на иконы и, не увидев огонька в лампадке, насупилась:

– Без огня перед образами живешь, Стратоныч?

Дарья, закланявшись, виновато сказала:

– Погасла лампадка. Сама утрось возжигала. Масло у нас ноне не больно доброе.

Все еще стоя у порога, Карнаухова не сводила глаз с мужиков.

– Христос вам навстречу, знакомцы. Онемели от неожиданной встречи со мной?

Стратоныч растерянно подошел к ней и ткнулся губами в ее руку.

– Милости прошу, Василиса Мокеевна. В эдакую погоду не бережешь себя. Стужа, метель, ветер. А ты на тройке. Да разве можно?

– Не печалься. Поживу еще на белом свете.

– Может, чайку откушаете с пути? Гостья для меня во всякую пору желанная.

Карнаухова не спускала глаз с Тихона, и ее взгляд подобрел.

– Вот где, Петрович, нынче берложишь? Сыскала тебя. Давненько мне глаз не казал.

– Не люблю, Василиса Мокеевна, по пустякам своей особой людей тревожить.

– За поданную с осени весть говорю тебе спасибо. С поклоном благодарю тебя.

– Как здравствуешь, матушка?

– Об этом, по правде сказать, сама ладом не знаю. Умаялась в столицах, а домой подалась, так вовсе кости в себе перемешала.

Карнаухова перевела взгляд на Тихвинцева и улыбнулась:

– Да неужли это ты, Гриша Одуванчик?

– Он самый, матушка.

– Эх, мужичок, мужичок, а еще вятского роду. Облез вовсе, как баран по весне. Голову будто кипятком ошпарили.

– Облысел малость.

– Какое малость! Начисто лысый. Жив, стало быть? Прыгаешь?

– Живой. Только прыгать вроде отпрыгался.

– Рада с вами встретиться. Домой катила отлеживаться, да и решила по пути к Стратонычу наведаться.

– Осчастливила ты меня.

– А ты, Тихон, будто ростом мене стал. Спина, видать, согнулась. Молодуха, прими ротонду. Все плечи оттянула.

Карнаухова скинула ротонду, но ее вместо Дарьи подхватил Тихон. Карнаухова подошла к печке; потрогав ее рукой, села возле нее на приступок.

– Так вот, Стратоныч, Христос тебе навстречу, навестила тебя не гостьей, а твоей новой хозяйкой.

Стратоныч, дернув головой, перекрестился.

– Правильно! Крестись!

– Поверить страшно!

– Страшно не страшно, а верить придется. Дворянина Шумилова прииски платиновые на Силимке да на Талой со всеми живыми и мертвыми, с тобой в придачу, теперь мои. Выпивали с какой радости?

– За будущую вольную зрителя откушали винцо, – ответил Тихвинцев.

– Слышала об этом от дворянина Шумилова. Хотел он тебе волю дать, да я его отговорила. Обузданный, ты вконец залягал народ, а без крепостной узды всех раньше срока в гроб загопишь.

– А иноземцы-то как же?

– Они остались ни при чем. Лезли к платиновому богатству, а я им дорожку переступила. Рановато еще иноземцам вплотную к нашему золоту и платине подступать. В их лапы прииски не отдала. При них тебе, Стратоныч, зажилось бы неплохо. Напихал бы в карманы платины. Со мной тебе туговато будет. Я старуха пронирливая. Дорогой думала о тебе. Надумала тебя с платины убрать.

– Не верь, матушка, людским наговорам.

– Не причитай. Тебе это не к лицу. Завтра поутру всю книжную писанину про прииски покажешь. За все подчистки ответишь. Постой. Ты лучше все это Тихону покажешь.

– Матушка!

– Помолчи! Через неделю явишься ко мне в город со всеми манатками. В каменоломни поставлю тебя, за мрамором доглядывать. А тебя, Тихон, прошу заступить место правителя приисков. Будет тебе по свету мыкаться. Согласен?

– Как велишь.

– Спасибо за сговорчивость. Ну, кажись, все сказала. Прощайте. К руке, Стратоныч, не прикладывайся. В гроб лягу, тогда на радостях обе мои руки облобызаешь. Вести я тебе чернее сажи привезла, но на то и Карнаучиха, чтобы за богатствами Урала доглядывать. Жадная. Подумай только, Стратоныч, сколько свечек приисковый народ затеплит перед святыми, как узнает, что убрала тебя отсюда.

Карнаухова обернулась к Дарье:

– Люб, что ли, тебе Стратоныч?

– Пошто люб? Велел жить, вот и жила. Его сила была.

– Пойдешь с ним на мрамор?

– Мне все одно. Пока молода, мужики будут вязаться.

– Правильно говоришь. Знаешь, что дана нам, бабам, сила волку пасть зажимать при встрече с ним с глазу на глаз. Давай ротонду. Сразу домой тронусь. Бывайте здоровы, мужики, провожать меня не ходите. Дарья проводит.

Карнаухова и Дарья вышли из избы. Тихон, подойдя к столу, налил себе стакан чаю. Стратоныч, опустив голову, сел на лавку. Тихвинцев с удовольствием нюхал воздух:

– Какой аромат в избу напустила! Будто розы с ландышами расцвели. Чего приуныл, хозяин? Ишь как расстроился, что даже хмель потом на лоб вылез.

Тихон, отпив чай, подошел к Стратонычу и хлопнул его по плечу:

– За угощение, хозяин, спасибо, а на это все-таки взгляни. – Тихон поднес к носу Стратоныча кукишку. – Ловко тебя Карнаучиха под свою власть подмяла. Да и подмяла-то вместе с волюшкой. Работенка теперь у тебя будет спокойная. Поглядывай, как народ из камня могильные плиты вытесывает. Станешь плохо присматривать, покойникам это не поглянется.

– Будет тебе над моим горем измываться.

В избу вернулась Дарья и, отряхивая с себя снег, сказала:

– Ну и оказия у нас в избе приключилась. Ждал Стратоныч волю с иноземцами, а прикатила Карнаучиха.

– Молчи, Дарья! – прикрикнул Стратоныч.

– Чего? – спросила Дарья и, подбоченившись, подошла к нему. – Смотри у меня! Шепотом зачинай со мной разговаривать. Отцарствовал. В ноги мне кланяйся, что согласилась с тобой на мрамор податься. Там обучу тебя по-иному по земле ступать. А сейчас ложись спать. Завтра надо тебе Тихону Петровичу со светлой башкой писанину книжную показывать.

– Да не лезь ты ко мне в такую минуту...

– Топай спать! Понял! Заморский петух с выдерганным хвостом, прости меня господи...

## Глава восьмая

### 1

Сплетни о пьяном бахвальстве Плеткина в гостях у Зарубина, порочащие честь Ксении Курнавиной, расплозились по Екатеринбург и не миновали ушей всеильного в крае горного начальника – генерала Глинка.

Разузнав о причинах драки горного инженера Петра Хохликова с Плеткиным, грозный генерал, пресекая сплетни, принял самые суровые меры.

Глинка приказал Плеткину в течение суток покинуть пределы края сроком на два года, а горного инженера Хохликова уволил со службы в горном управлении.

Прослышав о приказе генерала, промышленный и купеческий город, как оглушенный громом, растерянно притих.

В защиту Плеткина все же вступились некоторые его приятели-промышленники, подали на имя генерала петицию о помиловании провинившегося, но в ответ получили свою петицию, разорванную на клочки.

Екатеринбург знал, что с генералом шутки плохи. Трезвые головы посоветовали защитникам Плеткина временно убраться из города, долой с глаз генерала. Они послушались совета и разъехались из Екатеринбурга в разные стороны, якобы по неотложным делам. Перетрусивший Плеткин выполнил приказ генерала без замедления и, покинув город, перебрался в Тобольскую губернию...

Генерал Глинка с первых дней воцарения на Урале зажил с промышленниками и купечеством не очень-то дружелюбно. Во всем крае чувствовалась власть генерала. Знали, что отменить наказание Плеткину бессилён даже пермский губернатор. Порядок, заведенный Глинкой в управлении краем, быстро свел на нет власть губернатора, она теперь простиралась из Перми только до границ реки Чусовой, оставляя весь край под единоличным владычеством главного горного начальника. Воцарившись на Урале, Глинка разом нарушил всю систему управления краем, заведенную его предшественниками, – порядок, когда вся власть главного горного начальника сводилась к разбору дряг и споров в промышленном мире да к исполнению прихотей миллионщиков и укрывательству их изворотов.

В крае знали, что только Василиса Карнаухова нашла в себе смелость вступить в спор с генералом и возразить против применений телесных наказаний, но и она не довела своего спора до конца, пошла на примирение с волей генерала.

Военное положение, введенное в стране при Николае Первом, поставило Глинку на Урале на особый уровень. Решительно воспользовавшись всеми полномочиями, он сосредоточил в своих руках власть военно-гражданскую, власть полицейскую, военных и секретных судов, создав этим сосредоточием потрясающий хаос беззакония, узаконенного законом.

Угодливое и хитрое чиновничество, безропотно подчинившись новшествам, проводило их в жизнь по своему усмотрению, разведав беспримерную волокиту, невиданное самоуправство, истязавшее население. Прикрываясь именем грозного генерала, чиновничество продолжало по старинке копать в бытовых дрязгах, по-прежнему исполняло волю богатеев и еще более пристрастилось к взяточничеству. Около Глинка собралась стая алчных, вороватых высших чиновников, удобными для себя путями утверждавшая «генеральский правед», дававший возможность и мелкому чиновничеству поживиться.

По-солдатски грубый, прямой, со своим понятием о справедливости, Глинка, упоенный диктаторской властью, рассчитывал на то, что страх перед ним позволит держать чиновников в

руках; вначале он не допускал и мысли о корыстных «делишках» подчиненных. А когда заметил вороватость чиновников, то попытался поубавить зло, но так и не преуспел в этом.

Урал, как будто замиривший следствием графа Строганова по делу Григория Зотова и Петра Харитоновых, в действительности не прекращал волноваться. То тут, то там вспыхивали волнения на промыслах, заводах и приисках. Народ не мирился с ошейником неволи, не было в нем и прежней покорности крепостного раба, и, хотя часто терял своих лучших вожаков и поверенных, держался теперь он стойко, мужественно, смело бросая вызов богатырям.

Нарастающая нехватка рабочих рук в крае усиливала стремление промышленников принудить к труду все еще вольный раскол, укрытый в лесах. Заводчики, пользуясь гонением на раскол, изыскивали новые пути, чтобы добывать рабочую силу. Но раскол отчаянно отстаивал неприкосновенность своей лесной судьбы.

Генерал Глинка жестоко подавлял волнения рабочих, но это не умирало их, а еще более разжигало страсти. Генералу нужен был тихий, покорный край.

Однако смиренности трудового народа генерал добиться не смог...

## 2

В мглистом морозном тумане январского вечера над Екатеринбургом всходила полная луна. Ее шар с пятнами, как давно не чищенный медный таз, поднялся над частокочками уктусских лесов.

В обширном кабинете генерала Глинки в горном управлении на плите яшмовой столешницы в двух канделябрах горели свечи. Высокие окна наглухо закрыты малиновыми портьерами. В простенке между окон большие часы, на их циферблате стрелки проходили последние минуты седьмого часа.

Посередине комнаты на персидском ковре стол в окружении позолоченных кресел с обивкой из муарового шелка. На стене в лепной тяжелой раме портрет императора во весь рост. Вдоль глухой стены расставлены шкафы с книгами и образцами горных пород. К столу от входной двери протянулась ковровая дорожка.

За столом восседал генерал Глинка. Его мундир был полурасстегнут. Пухлые щеки с седыми бакенбардами нависали над краями твердого воротника. Перед ним в кресле, закинув ногу на ногу, сидел заводчик Муромцев в сильно потертom гусарском доломане. Генерал принимал посетителей по вечерам.

Муромцев явился к генералу с запоздалым ходатайством о Плеткине. Заводчик, объяснив генералу причину своего появления, заметил, как лицо горного начальника от гнева покрылось красными пятнами.

– Удивлен! Премного удивлен, Владимир Аполлонович, увидев вас в облике заступника недостойного обитателя вверенного мне государем края. Поведение купца-промышленника... – Генерал сделал паузу, нахмурил кустистые брови и повторил: – Поведение купца не заслуживает того, чтобы дворянин империи просил об его помиловании. Властью, данной мне, он наказан справедливо и неоспоримо правильно. Приказ отменен быть не может. С прискорбием вынужден еще раз выразить удивление вашей просьбой за человека, позорящего славу Екатеринбурга. Его пьяное поведение и оскорбление женской чести уже давно вызывали мое негодование. Будучи справедлив и милостив, я до сего времени не наказывал Плеткина, полагая, что он поймет невежественность своих поступков и одумается. В городе, столь внешне привлекательном, не должно быть примеров недостойных отношений между имущими людьми. Пороку могут подражать низшие сословия. У меня достаточно власти, чтобы наконец остановить беспутство. И у меня есть намерение сделать это по всей строгости. Плеткин первый безнравственный сорняк, вырванный мною с корнем.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.